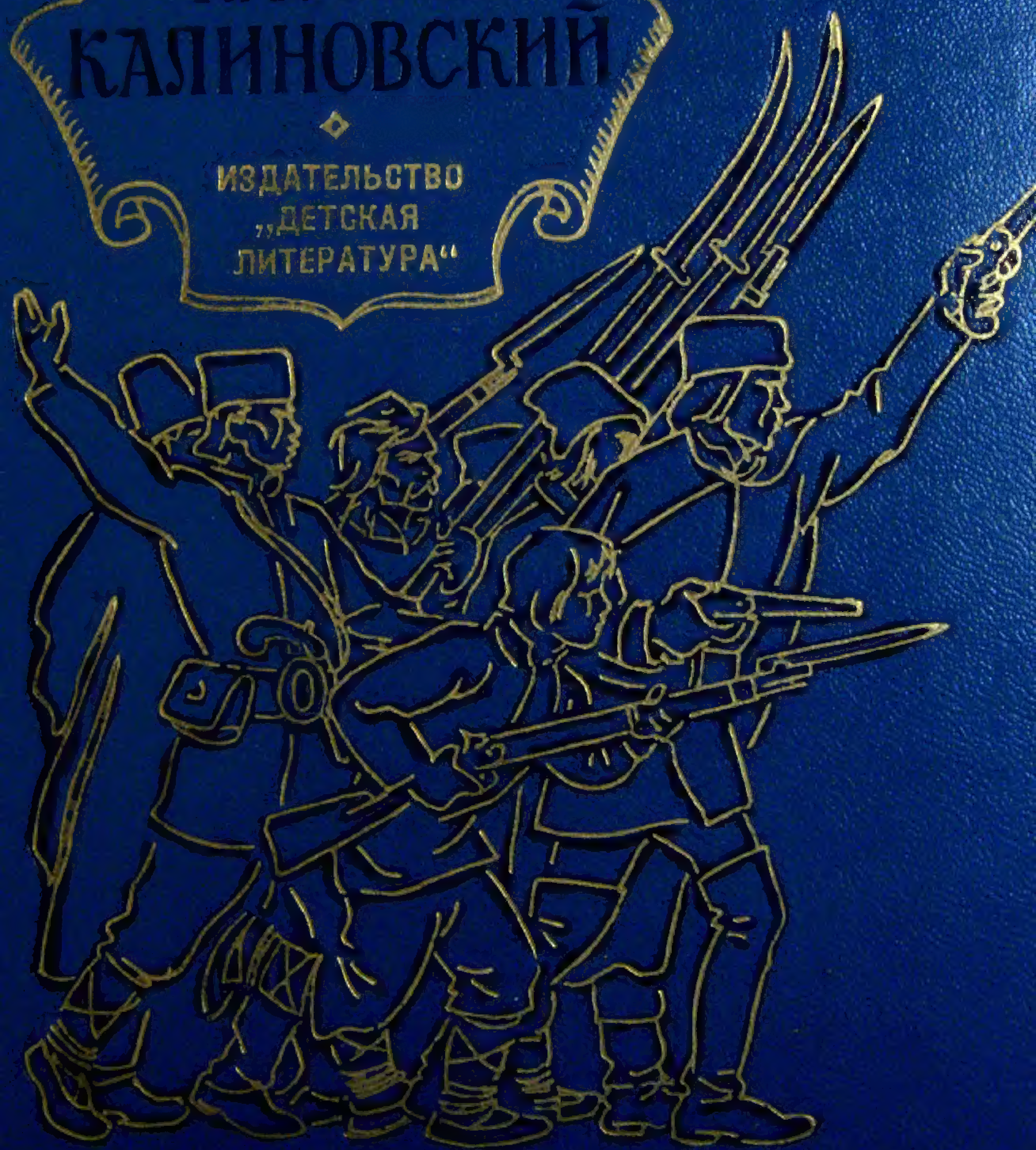
Алесь Якимович

Кастусь Калиновский

Издательство „Детская литература“



АЛЕСЬ ЯКИМОВИЧ

КАСТУСЬ КАЛИНОВСКИЙ



Документальная повесть

Авторизованный перевод с белорусского

Александра Тверского

МОСКВА „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА" 1976

Кастусь Калиновский... Пламенный революционер XIX века, больше всего на свете любил он тех, кто добывает хлеб своим трудом, горячо сочувствовал им и, сам будучи дворянином, встал на сторону простых земледельцев. Вместе со своими боевыми соратниками смело поднял против царского самодержавия крестьян Белоруссии и Литвы. Царский манифест 1861 года его не обманул. Калиновский возглавил издание и распространение «Мужицкой правды» — первой подпольной газеты на белорусском языке. И в ней призывал добиваться «не такой вольности, какую нам царь захочет дать, а такой, какую мы сами, мужики, между собой сделаем». В 1864 году жандармы выследили и схватили Кастуся. Но, даже приговоренный к смерти, не дрогнул Кастусь. Он обратился к людям со знаменитыми «Письмами из-под виселицы». Всего двадцать шесть лет исполнилось Кастусю Калиновскому, когда был он казнен. Но гордое имя его навеки осталось в памяти народа.

Рисунки Льва Хайлова

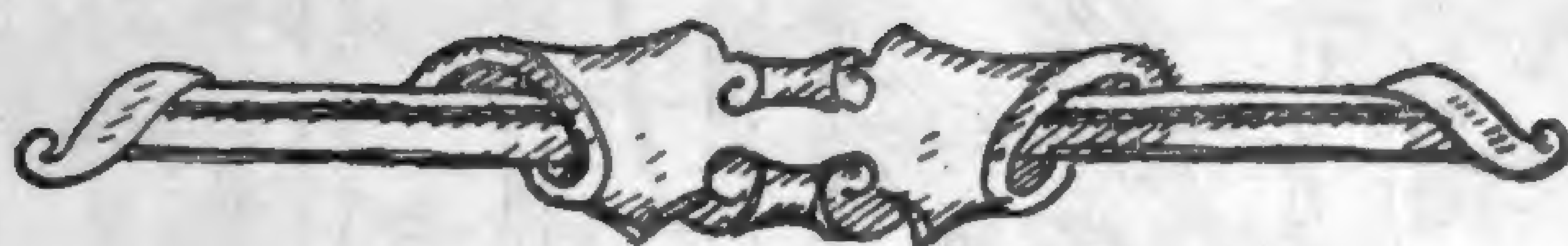
Якимович А. И.

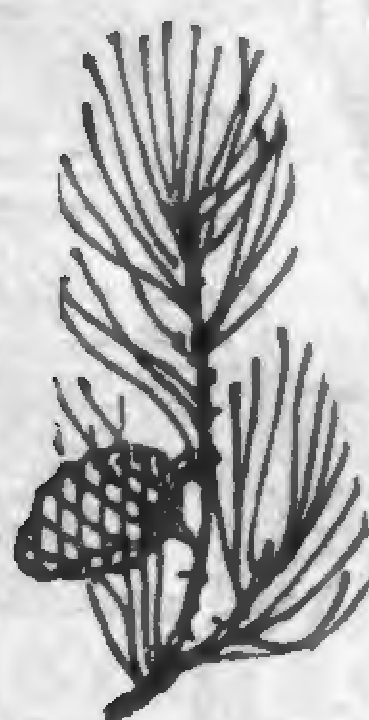
Я46 Кастусь Калиновский. Документальная повесть. Авториз. пер. с бел. А. Тверского. Рис. Л. Хайлова. М., «Дет. лит.», 1976.

240 с. с ил.

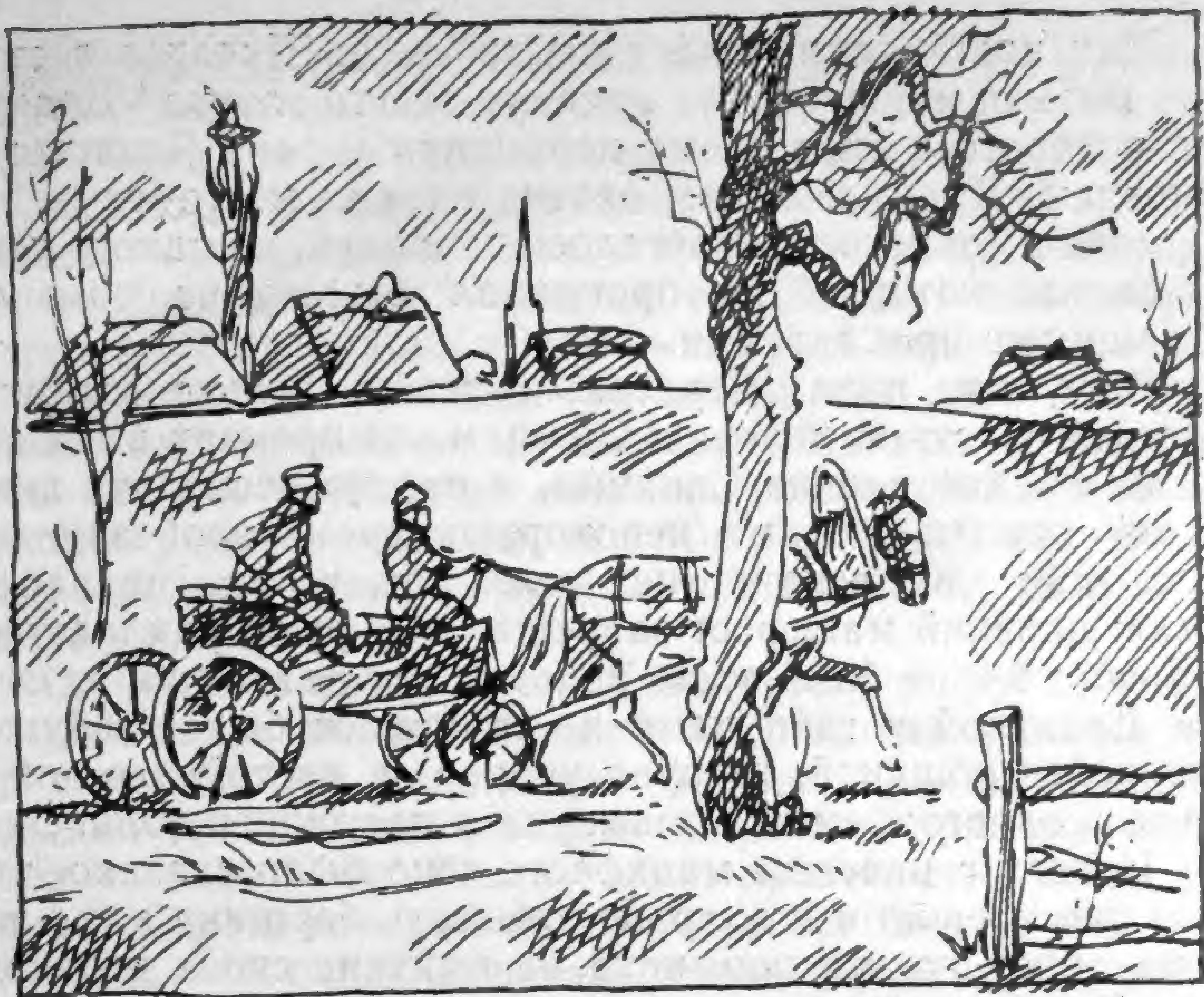
Документальная повесть о жизни и борьбе славного революционера, народного героя белорусского народа Кастуся Калиновского, возглавившего в 1863 году восстание белорусских крестьян.

Я $\frac{70803-294}{М101(03)76}$ 438—76 С(Бел)2









Часть первая

„МУЖИЦКАЯ ПРАВДА“

I

Второй, после отмены крепостного права, весенний сев не ладился в имениях пана Жердецкого так же, как первый. Временнообязанные, как называли теперь бывших крепостных, без конца бунтовали. Особенно в новом имении. Пан Жердецкий горько каялся, что купил его перед самой реформой. Дались же ему эти Дрозды в Гродненской губернии! Пока от них больше забот, чем доходов. Правда, дрозды там поют великолепно. Но пану Жердецкому не до них.

Лесопильня, которая соблазнила его и нагнала цену на имение, едва ли не ежедневно простаивала: все что-нибудь в ней расстраивалось и ломалось. Пан, конечно, догадывался, что это дело рук пильщиков, желающих ему навредить. Да ведь поди-ка поймай их за руку!

Пан прямо-таки боялся выезжать из Дроздов в старые имения и держал тут лучшего своего тивуна [1] Дракулу, которого в свое время переманил у пана Ясинского. Впрочем, Дракула и сам охотно сменил место службы: в имении Ясинского не осталось, пожалуй, ни одного крестьянина, который не проклинал бы тивуна самыми страшными проклятиями.

Выручали пана Жердецкого теперь только солдаты третьей пехотной дивизии. Он время от времени вызывал их из Гродно или из Слонима, и они по нескольку дней кряду пороли розгами непокорных временнообязанных. Сам пан Жердецкий на экзекуции теперь права не имел: царский манифест запрещал ему рукоприкладство. Да если б и не было этого запрета, все равно пан со своим Дракулой и гайдуками не справился бы с разбушевавшейся общиной, которая упорно и настойчиво добивалась одного: земли без выкупа и настоящей воли.

И хотя в царском манифесте ясно было сказано, что бывшие крепостные должны отбывать барщину или платить оброк до тех пор, пока не выкупят своих наделов, пан Жердецкий мало верил в то, что будет именно так. Ведь уже и сейчас не хватает у царя ни солдат, ни полицейских стражников, чтобы послать их во все имения — помещичьи и казенные — для усмирения мужиков.

И вот задумал пан Жердецкий перестроить свое хозяйство, нанимая батраков из вольных людей и обедневших мещан и все чаще заставляя работать в поле своих дворовых.

Вместе с другими дворовыми ходил теперь на полевые работы и Язэп Волович — невысокий худой подросток, которого несколько лет назад пан Жердецкий выиграл в карты у пана Ясинского [2]. Сил у Язэпа было еще немного, но жалеть его было некому. Отца его сжил со свету Дракула, а мать осталась в своей Голыновке, возле усадьбы пана Ясинского, куда теперь Язэп и дороги не знал: прошлой весною привез его к себе пан Жердецкий

---

[1] Т и в у́ н — здесь: надсмотрщик.

[2] О жизни крепостного мальчика Язэпа Воловича рассказано в повести «Крепостное детство», помещенной в книге Алеся Якимовича «Васильев курган». Изд-во «Детская литература», М., 1964 г.

с завязанными глазами, чтобы не вздумал Язэп сбежать домой. Пан опасался неспроста: такое с Язэпом уже бывало. Один только дядька Егор — его вместе со всей артелью лесорубов пан Жердецкий тоже переселил в новое имение — по-прежнему был с Язэпом и добр и ласков.

— Ничего, брат! — утешал он Язэпа.— Как-нибудь потерпим еще годик, а там — каждый сам себе пан[1].

Но этот вот последний год неволи как раз и казался Язэпу самым тяжким и мучительным. Едва ли не каждую ночь снилась ему ветхая избушка в далекой Голыновке, снились родные и друзья, дед Михаль. Сердце его было там, в родном краю, а здесь, на чужбине, маялся он, как птица в клетке.

Однажды в начале лета Язэп вместе с другими дворовыми пахал землю на холме, где пан намеревался сеять гречиху. Это была самая поздняя пахота и самый поздний сев. Пахали без пристяжных — впряжена была одна лошадь. Плуг Язэпа тащил приземистый конь, по кличке Сивак, который по старости лет был не очень-то работящ. Но панский надсмотрщик Дракула не делал скидки ни коню, ни пахарю.

Язэп немало намучился с Сиваком и натерпелся уже ругани от ненавистного Дракулы.

Теперь Дракула не ходил, как раньше, с нагайкой. Но это было, пожалуй, и все, что переменилось в нем после отмены крепостного права. Зато бранился он пуще прежнего (ведь ругань царским манифестом не была запрещена) и часто пускал в ход кулаки.

Если же кто-нибудь из крестьян, отведав Дракулиных кулаков, жаловался на него пану, тот лишь весело осклабливался и говорил:

— Смотри, каким барином стал, его уж и пальцем не тронь! Небось раньше не жаловался, когда тивун бил тебя нагайкой или розгами хлестал...

— Так то ж раньше было...

Но чванливый пан Жердецкий кричал:

— Ты еще пока не хозяин! На моей земле сидишь и по моей милости. Выкупишь свой надел, тогда и живи как хочешь!

---

[1] Для безземельных дворовых людей крепостное право должно было кончиться через два года после реформы, то есть весной 1863 года.

А выкупить у пана свой исконный надел земли временнообязанный мог только с согласия пана. Для этого он должен был выплатить четверть стоимости земли сам. Остальные три четверти ему предлагала взаймы казна. Но ведь и казна не давала ничего просто так, бескорыстно: она рассчитывала на хорошие барыши. И раз хитрил царь, то хитрили вместе с ним и паны: землю свою оценивали в два, а то и в три раза дороже, чем она стоила.

Вот и подступись к этой земле!..

Повзрослевший Язэп все чаще задумывался, как же будет дальше жить он и его семья. Раньше он об этом думал мало. Казалось ему, что воля для человека — дороже всего на свете. Пройдет два года, и кончатся его мучения. Избавится он от пана Жердецкого и не пойдет, а побежит домой, в свою родную Голыновку. Все это так. Но что он там будет делать? Где они с матерью возьмут денег, чтобы выкупить у пана Ясинского хотя бы свою усадьбу?

Эти тревожные мысли все чаще донимали его. И когда пахал Язэп панскую землю, не видел он перед собою ни загнанного Сивака, ни плуга, который со скрежетом врезался в песок: он просто-напросто забывал обо всем, погружаясь в свои невеселые думы; между тем плуг надо было крепко держать в руках: часто попадались камни, и он то и дело выбивался из борозды. Пока поставишь плуг обратно в борозду, остается немалый огрех. Язэп останавливал упрямого Сивака, тянул его вожжами назад и исправлял свой промах. Но это было не так-то легко, а через час-другой Сивак так выматывался, что и вовсе отказывался пятиться назад. И приходилось оставлять иные огрехи. «Ничего,— думал Язэп,— пан не обеднеет, если соберет гречихи поменьше. Черт его не возьмет!»

Как-то раз пахал Язэп у самого берега реки.

Утром было солнечно, но к полудню черные тучи заволокли небо. Оводы и слепни, налетевшие из лесу, беспощадно жалили старого Сивака. Он пытался отгонять их хвостом, да где там!.. Сивак останавливался и, дергая постромки, бил себя по животу ногами, пробовал пускать в ход морду, но мешал хомут. Это еще больше портило пахоту.

Язэп принялся кнутом сбивать назойливых мух, однако они не сдавались.

Язэп пахал в одной посконной[1] рубахе без шапки, босиком. Хотя были у него с собою и армяк и шапка. И даже сумка с едой: пахать-то приходилось далековато от усадьбы и ходить туда днем не разрешал тивун. Язэпу давно хотелось есть. Да прервать работу было не с руки, пока не сделал этого кто-нибудь из старших.

Но вот пошел теплый дождик. Язэп надел армяк и шапку. И уже собрался снова взяться за плуг, как неожиданно увидел в ложбине тивуна Дракулу.

— Но-но, но-но! — взмахнул он кнутом и повел борозду дальше.

Дракула!.. От одного только упоминания о нем бросало Язэпа в дрожь. Лет пять назад Дракула насильно вырвал его, тогда совсем еще мальчишку, из семьи — забрал работать на панский двор. Потом подсунул парня под горячую руку пьяному пану Ясинскому, и тот проиграл его в карты пану Жердецкому.

Дракула подошел к пахарям. Остановился, тяжко сопя: в последние годы он заметно постарел и обрюзг, и видно было, что трудно ему теперь подняться даже на невысокий пригорок. На нем был легкий летний пыльник, пестрая шапка с лакированным козырьком и легкие парусиновые штиблеты. Фыркнув носом, он ткнул тростью в землю — в одно из тех мест, где кто-то малость недопахал.

— Кто так пашет? Э?

— Да тут, пан тивун, камень на камне,— сказал старый Опанас.

— Плуга не удержишь...— поддержали Опанаса другие пахари.

Но тивун гневно замахал своей тростью:

— Лодыри! Лентяи! Небось, когда ходила по вашим спинам хорошая плетка, вы иначе пахали!

Отчитав мужиков, Дракула приблизился к Язэпу.

У него нашел он много огрехов.

— Стой! — поднял тивун свою трость.— Стой, говорю!

Язэп остановил Сивака.

---

[1] Посконный — сшитый из грубого домотканого холста.

— Борона пройдет, пан тивун, и все сгладится...— робко проговорил Язэп.

— Ах ты щенок, еще оправдываться будешь! Вот я тебя сейчас поглажу, негодяй!

Оглянувшись и увидев, что мужики не смотрят на него, Дракула развернулся и изо всех сил ударил Язэпа по голове. Язэп упал.

— Давно я тебя не учил! — прошипел Дракула.

— Не имеешь права, пан тивун, рукам волю давать! — всхлипнул Язэп.— Я жаловаться буду.

Дракулу так и затрясло, когда он услышал такое от тихого Язэпа. Вот что наделала эта царская воля! Он, Дракула, панский тивун, который перехлестал и перестегал розгами, плетьми сотни крепостных, теперь, видите ли, не может прищучить даже холопского щенка! Только тронул, а он — жаловаться! Ну и времена настали!

И разъяренный тивун бросился на Язэпа и принялся бить его ногами.

Это увидели мужики.

— Пан тивун! — закричали они, подбегая к Язэпу.— За что? За что парня бьешь?

Тивун опомнился, отошел от Язэпа.

— Он знает, за что...

И, ни на кого не глядя, Дракула зашагал прочь.

А Язэпа словно подменили. Вскочив, он поднял большой камень и с глухим криком бросился за Дракулой. Жгучая ненависть к душегубу-тивуну, та самая, которая давно мучила его, с невероятной силою вырвалась из его измученного сердца. И он не смог бы сдержать ее, даже если бы захотел.

— Язэп! Язэп! — закричали мужики.— Опомнись!

Но, охваченный жаждой мести, Язэп не услышал этих возгласов. Зато услышал их Дракула. Он оглянулся как раз в ту минуту, когда Язэп изо всех сил швырнул в него свой камень...

— А-а-а!..— в ужасе завопил тивун, закрывая лицо руками.

И рухнул на землю как сноп.

Язэп молча обвел невидящими глазами мужиков и так же молча пошел к лесу.

Никто его не останавливал.

Лес был рядом. Дойдя до первого дерева, Язэп обер-

нулся и увидел, как четверо мужиков понесли тивуна на руках в усадьбу.

Остальные все еще стояли на том месте, где он оглушил своим камнем Дракулу. Лошади спокойно отдыхали в бороздах и лениво отмахивались хвостами от слепней.

«Неужели убил?» — промелькнуло в голове Язэпа.

Назад, в имение пана Жердецкого, теперь дороги нет... Надо бежать из этого страшного места. И чем скорее, тем лучше. Все равно — убил он Дракулу или только оглушил — пан не простит.

Дождь не утихал. Тучи обложили небо. Лес нахмурился, потемнел. Да и незнаком был Язэпу этот лес. Дорога, которая вела из имения на восток, в его родные места, лежала совсем в другой стороне. Там недалеко синеет Неман. И если идти вдоль Немана против течения, то можно попасть в Столбцы, а оттуда уж до дому рукой подать.

Мать!.. Только она его поймет. И как скажет она, так и будет. Скажет — вернуться назад, к пану Жердецкому, на суд и расправу, и он вернется. Не скажет — пойдет куда глаза глядят. Он уже не маленький, не тот Язэпка, который совсем еще недавно прятался под полати не только от тивуна, но и от всех людей.

Выбраться на дорогу можно обойдя лес. Так ближе. Но это опасно: могут увидеть и схватить. И Язэп углубился в лесную чащу.

Шел он долго и никакой стежки найти не мог. Под ногами стелился густой валежник, повсюду в лесной чаще разбросаны были гнилые пни. Того и гляди, как бы не споткнуться, не упасть.

Утомившись, присел Язэп на поваленную осину. Захотелось есть. Вспомнил о своей сумке с харчами. Там был кусок хлеба и соленый огурец. Как бы сейчас пригодилась ему эта сумка! И он пожалел, что не прихватил ее.

Если бы светило солнце, Язэпу нетрудно было бы хоть приблизительно определить, как же идти к Неману. А сейчас шел он вслепую. Время от времени попадались ему топкие болотца. Пока обойдешь такое болотце, вовсе запутаешься, забудешь, в какую сторону шел. Босые ноги хотя и привыкли ко всякому, а начали сдавать. Пятки горели от жесткого хвороста и колючих шишек.

Немного отдохнув, Язэп снова двинулся в путь.

Несмотря на тяжкие думы, усталость и голод, он не мог не любоваться лесом, который уже встряхнулся от дождя и снова зажил своей обычной жизнью. С дерева на дерево, словно рыжие огоньки, скакали шустрые белочки; рьяно и неистово стучали своими острыми клювами дятлы; весело звенели голоса певчих птиц. Время от времени с громким карканьем пролетали над вершинами деревьев черные вороны. И несколько раз мелькали перед глазами беглеца дикие козы.

До самого вечера Язэп все еще не терял надежды выйти на какую-нибудь дорогу или хотя бы попросту выбраться из лесу. И только когда густая темень окружила его со всех сторон, он остановился. Двигаться среди ночи неведомо куда не имело смысла.

Язэп не боялся ночного леса. Погоня, если она и идет по его пятам, в таком мраке его не отыщет. А волкам он не нужен. Сейчас они не голодают. Хватает им молодой зайчатины и коз. И все же страх не покидал его. Он слышал от дворовых людей, что леса вокруг имения огромные и ведут они едва ли не в самую Беловежскую пущу, туда, где живут чудные звери, похожие на коров. Называют их зубрами. Говорят, они даже медведя на рога поднимают. А что, если он так и не выпутается из этого леса да и угодит в эту страшную пущу, прямо к зубрам?

Ощупью продвигаясь в темноте, Язэп кое-как набрал сухого мха и, расстелив его под старой елью, тяжелые разлапистые ветви которой свисали до самой земли, забрался под эти ветви и улегся поудобнее на лесной постели. От могучего корявого комля веяло покоем и приятным теплом. Теперь Язэпу хотелось одного: скорее бы настало утро и рассеялись тучи. Тогда он пойдет дальше. И быть того не может, чтобы не наткнулся он в конце концов на людей, которые скажут, где же наконец синий Неман.

II

Он проснулся вместе с первыми птицами. За ночь сильно озяб. Старый армяк грел плохо. Босые ноги совсем опухли от вчерашнего блуждания по лесу. Ахая и дрожа всем телом, выполз из-под ели. Глянул на небо —

еще только начинало светать. Звезд нигде не было видно. Над лесом все еще висело вчерашнее темно-серое покрывало. Кругом было холодно и мрачно.

Потопал немного на месте, думая, покинуть ли этот обжитый уголок или подремать еще немного на мягком мхе. Завертелись в голове мысли о вчерашнем. Нет, и сегодня он не осудил себя за свою горячность. Чему быть, того не миновать. Случилось то, что не сегодня, так завтра все равно должно было случиться. Давно носил он в своем сердце эту месть. И, право же, чего ради придрался к нему проклятый Дракула за такие малые огрехи? Разве бывает без них? Вот и выходит: сам он, тивун, искал своей погибели. Что искал, то и нашел. Собаке собачья смерть.

Но куда же податься? Какая счастливая стежка выведет из этой нескончаемой чащобы? Кто знает, далеко ли отошел он от имения или топтался вокруг него?

Согревшись немного, пошел наугад. Он знал, что даже в самых больших лесах должны быть и стежки и дороги. Вчера он к ним не присматривался, потому что верил, что идет туда, куда ему надо. Сегодня же нет у него такой веры, и он пойдет искать не Неман, а людей. Уже скоро сутки, как ничего он не ел. Весенний лес его не накормит. Это тоже могут сделать одни только люди.

Он шел и шел, теперь уже сильно шатаясь от усталости и голода. Попадал и на какие-то тропинки, но они легко терялись в лесной чаще.

Наконец тучи рассеялись, и ярко вспыхнуло солнце. Густой лес посветлел. Снова защебетали над головою птицы.

Язэп сделал передышку, пробуя по солнцу определить, где он очутился. Но это, наверно, легче было бы сделать где-нибудь в поле, а не здесь, в лесу. И все же солнце подсказывало, что идет он не к Неману, а от Немана. Значит, он и в самом деле заблудился. Надо идти в другую сторону, на восток. Все это, конечно, не наверняка. Но скорее всего — так. И он пошел. Лучше сказать, заставил себя переставлять свои одеревеневшие ноги.

Не прошел он на этот раз и полверсты, как увидел не стежку, а широкую дорогу. Настоящую лесную дорогу — с колеями, выбоинами и даже со свежим следом подводы!

У Язэпа все внутри так и затрепетало от радости.

След, конечно же, вел из какого-то села в какое-то другое село. До какого же из них ближе? И от какого из них ближе до Немана? Но ведь где-то тут, рядом с ним, живая душа! Надо спешить за нею, пока не поздно...

На одном из поворотов дороги стояла повозка, а рядом с нею полыхал костерок. Живой, манящий, приветливый. На невысоком пне сидел у огня человек в сером суконном армяке. Неподалеку пасся выпряженный пегий конь. По лесу разносился вкусный запах жареного сала.

Язэп остановился. Встреча с незнакомым человеком в незнакомом лесу его и обрадовала, и встревожила. Он притаился за вековым дубом и принялся издали следить за незнакомцем. Кто он? Можно ли подойти к нему и расспросить о дороге на Неман? И что сказать, если незнакомец спросит, откуда Язэп и куда держит путь?..

Между тем человек повернулся в сторону Язэпа, и Язэп хорошо рассмотрел его фуражку с черным козырьком, такую, как у всех мужиков, кожаные лапти с ремеными оборами[1] и, наконец, его круглое, сильно загорелое лицо, на котором выделялись небольшая темно-русая бородка и такие же усы. Незнакомец жарил сало, держа его на хворостине, поворачивая ее над огнем и время от времени стаскивая с нее левой рукою, в которой зажат был ломоть хлеба, поджаренные куски. Тоже как все мужики.

По всему было видно, что он — из крестьян. Из каких — дело другое. Язэп знал, что крестьяне бывают разные — помещичьи, скарбовые, или казенные, и вольные. Скарбовые — это те, которые живут в имениях, принадлежащих казне. Они такие же крепостные, как помещичьи. А вот вольные — эти свободные. Их мало. Но не служат они ни казне, ни господам. Живут себе как хотят. Кто из них может, тот арендует клочок земли у того же помещика, или у попа, или у богатого чиновника.

Поколебавшись, все же решился Язэп подойти к незнакомцу. В конце концов, что он может сделать ему, даже если он и плохой человек? Язэп ведь не маленький, и силой его не возьмешь.

Он вышел из-за своего дуба и как ни в чем не бывало пошел по дороге. Идет себе обыкновенный путник, и все.

---

[1] Обо́ра — тесьма, которой обкручивались онучи и прикреплялись к ноге лапти.

Незнакомец, однако, сразу же пристально посмотрел на него. Язэпу даже показалось, что испуг появился в глазах незнакомца.

И Язэп не ошибся. Незнакомец был из тех людей, которые скрывались от царских жандармов. И он сразу насторожился, увидев Язэпа. Не так-то часто встретишь человека в этих глухих местах. И он стал прикидывать, куда может идти парень, которого он так же внимательно рассматривал, как несколько минут назад рассматривал его самого Язэп.

«Может, к леснику Савелию идет? — подумал он о Язэпе.— Туда, куда и я? Тогда его тем более нужно остерегаться...»

Хата лесника стояла в таком глухом месте, что служила ему и его друзьям не только хорошим убежищем, куда не пришло бы в голову заявиться ни одному жандарму, но еще и надежным местом для того важного дела, которое делал и сам незнакомец и его товарищи. Если бы Язэп заглянул под сиденье его повозки, то увидел бы там изрядную пачку чистой газетной бумаги. А несколько дней назад привез незнакомец из Вильно в хату лесника еще и небольшой печатный станок и типографский шрифт...

Язэп собирался уже поздороваться с незнакомцем, как тот весело спросил:

— Куда шагаешь, малый?

Язэп остановился у его повозки, но промолчал.

— Не к Савелию ли?

— Нет,— глотая слюну, ответил Язэп.— Иду вот...— Дразнящий запах сала опьянил его.

И неожиданно услышал:

— Сала жареного хочешь?

— Спасибо...— Язэп облизнул сухие губы.

Он покосился на повозку и увидел, что там, на чистой белой сумке, рядом с ломтем ржаного хлеба, лежит изрядный кусок сала. Наверно, незнакомец не из бедных. И повозка у него ладная. И армяк не латаный. И лапти не лыковые. И сам он розовощекий, полнолицый.

Незнакомец снял с хворостины очередной кусок жареного сала и протянул хворостину Язэпу.

— На, держи сковороду,— улыбнулся он.— Без нее здесь, в лесу, сала не поджаришь.

Потом подошел к повозке, отрезал складным ножом с

деревянным черенком изрядный кусок сала и большой ломоть хлеба и тоже дал Язэпу.

— Жарь, брат, сам. Ты, я вижу, не панский сынок. С такой работой справишься.

Язэп, которому все еще не верилось, что это не сон, принялся торопливо насаживать сало на хворостину. Руки его задрожали. Он вспотел и покраснел от одной только мысли о том, что сейчас, через несколько мгновений, он будет есть этот свежий хлеб, да еще с салом, которого давнехонько не едал...

— Как звать тебя? — спросил незнакомец, спокойно жуя.

— Язэпом.

— А меня — Василем. Вот мы и познакомились.— Он бросил взгляд на своего коня.— Ну, жарь, давай, Язэп, а я пойду коняжку подгоню. А то вон куда махнул. Все травку получше ищет.

Едва Василь отошел в сторону, Язэп набросился на хлеб и сало. Зачем его жарить? Вкуснее этого сала, приятно пахнувшего чесноком, он, кажется, не ел ничего. И он проглотил поджаристый ломтик за одну минуту.

Вскоре вернулся Василь с конем.

— Ты что, уже управился? — удивился он, увидев Язэпа с пустыми руками.— Еще отрезать?

— Спасибо,— покачал головою Язэп.— Наелся.

Он бы, конечно, справился, как сказал Василь, и еще с двумя или даже тремя такими порциями, но сказать об этом постеснялся.

Василь запряг своего коня.

— Тебе куда? Подвезти?

— Мне на Неман нужно...

— На Неман? — переспросил Василь.— Откуда же ты на Неман-то идешь?

— Заблудился я...

— Вот оно что! — посочувствовал Василь.— Далеко ж тебе, брат, отсюда до Немана топать!

Помолчав немного, спросил:

— А где ты там, на Немане, живешь?

— В имении пана Жердецкого...

— Он твой барин?

— Ага.

Василь поморщился, закивал головой:

— Не завидую я тебе, брат. Ох, и пан!..

— Пан как пан,— сказал Язэп.— А вот тивун у него — так по нем давно осина плачет...

Язэп и не заметил, как легко пошел у него разговор с новым знакомым. Словно был перед ним близкий, свой человек, такой, как дядька Егор или дед Михаль.

Василь положил остатки хлеба в сумку, завязал ее.

— Ну, садись, Язэп,— показал он на сиденье.— Сегодня ты до своего пана Жердецкого все равно не добрался бы, если бы даже и дорогу знал. Это, брат, добрых верст сорок отсюда, а ноги у тебя, вижу, вон совсем распухли. Подвезу-ка я тебя к своему приятелю, леснику Савелию. Это здесь недалеко. Побудешь у него, лапти сплетешь. Вот тогда и топай к своему пану. Он что, все еще с мужиками воюет?

— Воюет,— ответил Язэп, усаживаясь на повозку.— Да еще как!

— А уставную грамоту[1] мужики ваши подписали? Н-но, Стрекач! — Василь взмахнул кнутом.

— Нет,— покачал головою Язэп.— Не подписали.

— И правильно сделали. А ты кто — надельный или из дворовых?

— Дворовый.

— И родители дворовые?

Язэп опустил глаза и промолчал. Василь тут же спросил о другом:

— Ну, а что сами ваши мужики думают, как жить собираются?

Ответить на этот вопрос Язэпу было нелегко. Мужики думают о воле, о земле. Это известно. А вот как жить они собираются, трудно сказать.

Тогда Василь упростил свой вопрос:

— Согласны они выкупить у пана свои наделы?

— Нет.

— Почему?

— А ты что, сам не знаешь? — удивился Язэп.— Ты ведь, поди, не из панов.

---

[1] Уставная грамота-договор между помещиками и временнообязанными на пользование помещичьей землей до срока ее выкупа. В уставных грамотах помещики старались уменьшить крестьянские наделы, а лучшие земли забрать себе и увеличить барщину. Крестьяне же, наоборот, боролись за землю без выкупа и за нерушимость своих вековых наделов. И конечно кабальных уставных грамот по доброй воле подписывать не хотели.

Василь расхохотался:

— Такой, брат, пан, как и ты!..

— А если такой,— сказал Язэп,— то должен знать, что на выкуп деньги нужны. А где их взять? Сейчас у нас об этом только и говорят.

— Говорят... говорят... — словно сам с собой рассуждал Василь.— О воле вот шесть лет говорили. А что выговорили? Какое мужику от этой воли облегчение? Нет, брат, не говорить надо, чтобы своего добиться, а делать что-то... И делать всем мужикам вместе. Иначе наши разговоры ни до панов не дойдут, ни до царя не доедут...

Дорога, которую все время пересекали крупные и мелкие корни деревьев, была словно оплетена ими и шла по густому дремучему лесу. Высокие стройные сосны и могучие ели сплошной стеною обступали ее с обеих сторон. Кое-где зеленели пышные кроны дубов-великанов, белели березы, качали широкой листвою клены. И казалось Язэпу, что только сейчас впервые видит он, как величавы деревья. Сердце его еще не стало на место. Но и отчаянье не мучило уже с такой силою, как прежде.

Как тяжело человеку противостоять беде, если он один! Тем паче нелегко это было Язэпу, подростку, заброшенному горькой судьбою в этот глухой, неведомый ему лес. Что ждет его впереди? Что делать ему сейчас? И где найти поддержку или хотя бы человеческое сочувствие? До дома своего ох как еще далеко! Да и удастся ли дойти? Когда он первый раз бежал из старого имения пана Жердецкого, перед ним была, наверно, всего-навсего половина нынешней дороги. И были у него с собою сухари, которые приготовил он заранее. А в лесу можно было найти позднюю чернику и малину. Теперь же была одна только надежда на добрых людей, которые встретятся на пути.

Пока Язэп думал свою думу, Василь все поглядывал на него своими добрыми и немного грустными глазами.

И сердцем почувствовал, что гнетет Язэпа какая-то невысказанная тревога. Ему хотелось, чтобы Язэп сам сказал, что его беспокоит, кроме того, что не может он попасть в имение пана Жердецкого. Знал Василь, что многие молодые парни убегают и от панов, и из родных семей. Сами ищут для себя и долю, и волю. Не раз встре-

чался Василь с такими парнями да и слышал о них от друзей. И еще знал Василь, что тайная организация, к которой он принадлежит, очень интересуется такими беглецами. Она устраивает им паспорта вольных людей. Но Язэп не был похож на беглецов, с которыми довелось познакомиться Василю. Ему еще нужна опека родителей, о которых он почему-то умалчивает.

— Отец и мать небось ищут тебя...— заговорил Василь.— А ты вот тут разъезжаешь со мной... Беловежская пуща-то рядом... Хорошо еще, что не наткнулся на зубра рогатого. Правда, они сюда редко заглядывают, да не ровен час...

Язэп глянул на Василя, и слезы брызнули из его глаз.

— Ничего, ничего, брат, не горюй! — принялся успокаивать его Василь.— Не маленький. Родители твои это знают, и бояться им за тебя нечего.

— Нет у меня отца...— проговорил, отирая слезы, Язэп.

— А мать?

— Второй уж год не вижу ее...

Слово за слово, и рассказал Язэп, что хотел узнать Василь. Не утаил того, что случилось накануне, рассказал о драке с Дракулой. И тут вместо того, чтобы укорять Язэпа, Василь расхохотался.

— Вот молодчина! — сказал он, обнимая Язэпа за плечи.— Ей-богу, молодчина! Я, наверно, и сам бы так сделал, как ты. Только так и нужно с панами и тивунами разговаривать!

Нахохотавшись вдосталь, задумался Василь.

В имение возвращаться Язэпу теперь нельзя. Ведь Дракула и в самом деле мог отдать концы, а тогда уж беды не миновать. Спрятаться дома, у матери, тоже надолго нельзя. Как же спасти его?

И Василь начал рассуждать вслух:

— Думаю, братец, домой спешить тебе не надо: там тебя найдут... Поживи малость у лесника Савелия. А там видно будет, что делать. Если твоего тивуна черт не взял, упекут тебя в острог. А если черти на нем уже смолу возят, то закуют тебя в кандалы и погонят на каторгу в Сибирь. Хоть лет тебе еще и мало, а припишут годок-другой — и будь здоров! Нет, Язэп, пану Жердецкому и его судьям лучше не попадаться...

У Язэпа немного отлегло от сердца. Теперь он понял, что Василь — хороший человек, которому можно верить.

Доехали до развилки дороги. Конь сам свернул вправо. «Значит, дорога эта хорошо известна Василю,— подумал Язэп.— Куда же он привезет меня? Что найду я там, у чужих людей?»

Уже начало смеркаться, когда показалась перед путниками усадьба лесника. Это была довольно просторная делянка на самом краю пущи, с высоким колодезным журавлем, с пряслом[1] и разными хозяйственными постройками, огороженными новым забором. Стрекач поднял голову и весело заржал. Перепрыгнула через забор и помчалась навстречу повозке рыжая собака. Она не лаяла, а добродушно скулила, приветствуя гостей. Из хаты, которая стояла в правом углу поляны, вышел лесник — худощавый и высокий молодой мужчина в легкой темной рубахе, и фуражке с кокардой на околыше. Он открыл широкие ворота, и повозка въехала во двор.

III

— Феликса нет? — спросил Василь, спрыгивая с повозки.

— Нет, Константин Семенович. Нет.

— Гм...— нахмурился Василь.— Пора бы ему воротиться...

Язэп с удивлением посмотрел на своего спутника: он ведь Василь, а не Константин!

Тот перехватил его взгляд. И рассмеялся:

— Ну и Савелий! Ты ведь выдал меня...

Савелий схватился за голову. Только теперь он сообразил, что он не имел права при незнакомом человеке — кто бы он ни был — называть Василя его настоящим именем. Ведь он должен был помнить, что перед ним в эту минуту именно Василь Свитка — обыкновенный временнообязанный, а не Константин Семенович Калиновский, с которым недавно познакомил его начальник Сокольской писарско-егерской школы Валерий Врублевский.

— Ну ладно,— успокоил Василь переполошивше-

[1] Прясло — приспособление для сушки снопов.

гося Савелия.— На этот раз нам повезло: мой новый знакомый лучше тебя умеет держать язык за зубами. Верно, Язэп?

Язэп кивнул головой. Он не мог взять в толк, о чем речь. Но как бы то ни было, он сумеет держать язык за зубами, если это нужно будет Василю, человеку доброму и душевному.

— Только вот что, Савелий, не величай ты меня, пожалуйста, по отчеству, а зови просто Кастусем. Незачем отца моего беспокоить. У него и без меня хватает забот. О том же прошу и тебя, Язэп. Ты — брат мой младший. Слышишь?

Язэп снова охотно кивнул головой.

— А брат брата как зовет? По имени. Ясно тебе, такой-растакой? — улыбнулся Кастусь.— Нравишься ты мне! Ей-богу. Из тебя человек хороший вырастет. Ну, а если придется нам бывать среди людей, тогда будет у меня два имени: в сером армяке я — Василь, по фамилии Свитка, а в панской одежде — Константин, или, лучше, Кастусь Калиновский.

Даже и после такого объяснения Язэп все еще не мог понять, где он очутился и что за люди здесь живут. Кастусь это видел. «Пожалуй, нас за разбойников принял,— подумал он.— А все из-за Савелия. Попробуй теперь объясни ему, кто мы и что. Впрочем, ничего, поймет со временем...»

Берестовицкий землемер Феликс Рожанский, о котором Кастусь спрашивал Савелия, приехал к леснику на следующий день вечером. И не один. Вместе с ним приехал печатник из Белостока Максим Потапчик — человек немолодой, кряжистый, с седыми усами. Феликс с его светло-русым моложавым обликом и тонкой фигурою мог бы сойти за его сына, так же как и сам Кастусь.

Кастусь обрадовался гостям.

— Ну, теперь, братцы, «Раззудись, плечо! Размахнись рука!»,— заплясал он вокруг Феликса.

— «Ты пахни в лицо, ветер с полудня!» — в тон ему весело отвечал Феликс строкою из того же стихотворения Кольцова.

— Ты, Феликс, просто чародей! Как тебе это удалось?

— Ты же знаешь: дядька Максим — мой родственник, хотя и дальний. А среди моих родственников не найдется, пожалуй, такого, который очень уж любил бы ца-

ря-батюшку и его церберов[1]. Правда, дядька Максим?

— Пускай их земля сырая любит...— сказал Максим Потапчик.

— А как же со службой? Не взыщут за самовольную отлучку? — улыбнулся Кастусь.

— Все сделано чин чином...— ответил Феликс.

— Смотрите, как бы не бросились искать беглеца. Еще на след нападут...

— Не бросятся,— успокоил Кастуся дядька Максим.— Меня отпустил сам мастер нашего наборного цеха господин Баранкевич.

— Баранкевич? Уж не открыл ли ты, Феликс, и ему тайну нашей типографии? — встревожился Кастусь.

— Боже упаси! Он же мне не родственник. А я только за родственников своих могу поручиться.

— Так как же?

— А так: пришлось дядьке Максиму солгать, что его любимая бабуся богу душу отдает и что он хотел бы проститься с ней перед смертью...

Кастусь успокоился.

— Ложь, однако, вещь не очень приятная,— поморщился он.— И это мы, дядька Максим, виноваты, что вынудили тебя солгать. Так что прости уж. Хотя если для пользы дела, то греха тут, пожалуй, и нет. Ну ладно. Даю вам, друзья, полную свободу до самого утра. После ужина можете делать все, что угодно... Но утром — как только услышу голос первой птицы — подниму, и тогда... дядьке Максиму у нас потрудиться придется, и немало.

— Ничего,— отвечал дядька Максим.— Не из тех мы людей, которые работы боятся. А как станок? Исправен?

— Кажется, да,— сказал Кастусь.— Поставщики — люди надежные.

— Верстатка и наборная доска в том же ящике, где шрифт. Мы уже все свое хозяйство осмотрели,— сообщил Феликс.— Правда, я слабо еще кумекаю, что к чему. Но дядька Максим поможет.

— Попробую,— отозвался Максим.— Наука моя для таких грамотеев, как вы,— вещь несложная. Труднее, ко-

---

[1] Це́рбер — свирепый пес, который, по древнегреческой мифологии, охраняет врата ада.

нечно, набор сделать. Тем паче без наборных касс. А на ручном станке печатать — это каждый сумеет.

После ужина Максим Потапчик не пошел отдыхать, а попросил хозяев показать ему, где находится подпольная типография.

А находилась она в риге, разгороженной на закрома и заставленной бочками и ящиками. Там, возле небольшого, в одну раму, окошка, стоял низкий сосновый стол, а на нем возвышался накрытый рядном печатный станок.

Дядька Максим снял рядно, осмотрел станок со всех сторон, крутнул ручку, и верхняя часть станка легко пошла вверх.

— Что ж,— пожал он плечами,— станок неплохой, хотя и старый, как мир. Поди, на таких еще при царе Горохе печатали. У нас в Белостоке их уже не найдешь. Этот, видать, в Вильно где-нибудь завалялся. А?

Кастусь засмеялся:

— Секрет, дядька Максим! Тайна!

— Ну, тайна так тайна. А шрифт где?

Кастусь подошел к ящику, который стоял рядом, и открыл его. Дядька Максим нагнулся и принялся перебирать шрифт и разные другие материалы.

— А шила нет?

— Зачем же шило?

— Наборщик без шила — как сапожник без дратвы. Но ничего, я думаю, у Савелия найдется какой-нибудь гвоздь. А где гвоздь, там и шило.

— Так у него и шило быть должно,— сказал Феликс.— Подшивает же он лапти!

Дядька Максим усмехнулся:

— Лапти и буквы — не одно и то же.

Пока дядька Максим знакомился с типографским хозяйством, Кастусь думал о своей газете, которую собирался печатать. «Мужицкая правда». Название это пришло ему в голову неслучайно. Он давно уже размышлял, к кому следует примкнуть, на чью сторону встать, когда начнется новая стычка России с Царством Польским. А стычка эта не за горами. Ведь 15 февраля минувшего года царские солдаты расстреляли в Варшаве мирную демонстрацию. И вот уже второй год поминают в костелах павших под царскими пулями, поют польские национальные гимны. В память о погибших носят польские женщины черные шапочки-гарибаль-

дийки, а мужчины — белые или фиолетовые конфедератки. Эта пока еще бескровная война охватила и тех поляков, которые живут в белорусских и литовских губерниях.

С первых лет ученья в Петербургском университете Кастусь, так же как и его старший брат Виктор, прочно связал свою судьбу с теми студентами из западных губерний и Царства Польского, которые выступали против самодержавного деспотизма и крепостного права. Они создали тайные кружки, читали запрещенный в России герценовский «Колокол», листовки и брошюры русских революционеров, статьи Чернышевского и Добролюбова в журнале «Современник» и мечтали о великой революции и в Польше и в России.

В Петербурге Кастусь познакомился и крепко подружился не только со многими своими сверстниками, но и с людьми, старшими по возрасту. Некоторые из этих людей занимали значительные должности в царских учреждениях, но были единомышленниками Герцена, Чернышевского, Белинского и Добролюбова. Среди них особенно выделялись офицеры, окончившие академию Генерального штаба: Зигмунд Сераковский, Ярослав Домбровский и Людвик Звеждовский. Они были поляки, горячие патриоты своей родины, и готовы были отдать за нее жизнь так же, как знаменитый их предшественник Тадеуш Костюшко.

Деды и прадеды Кастуся Калиновского испокон веков жили на тех землях, которые давно уже имели свое законное, признанное всем миром имя — Беларусь. И были это не польские провинции, каковыми считали их польские паны, и не Северо-Западный край, как уничижительно именовали их русские чиновники, а Белая Русь.

И люди здешние говорили и говорят по-своему, по-белорусски. Свои песни поют. На своем языке рассказывают и сказки, и легенды. Есть среди них и свои поэты, писатели.

Кастусь знал наизусть анонимную белорусскую поэму «Тарас на Парнасе». Попадались ему в руки и книги Дунина-Марцинкевича. И даже Владислав Сырокомля, известный польский поэт, у которого Кастусь часто гостил, вернувшись из Петербурга, и детей которого учил русской грамматике, читал ему свои стихи на белорусском языке.

Было в этих стихах дорого Кастусю каждое слово, каждое слово брало за душу, потому что было знакомо с колыбели. Именно этими словами говорили и его отец, и мать, и все соседи, среди которых он рос сперва в Мостовлянах, а потом в Якушевке, что неподалеку от местечка Свислочь.

Брат Кастуся, Виктор, был ученым-историком и мог часами рассказывать о родном крае такое, чего ни в одной книге не найдешь. И рассказы брата западали глубоко в душу впечатлительного Кастуся. А теперь, когда он постепенно начал выходить в первые ряды борцов против царского самодержавия, он окончательно убедился в том, что, кроме Царства Польского и Царства Российского, есть рядом с ним еще немалая третья сила — его народ, белорусы. И газету свою будет печатать он именно для них, кровных братьев своих — белорусских крестьян. «Мужицкая правда» должна разбудить мужика, раскачать его, сказать ему, что он — не «хам», не «быдло», каким считают его паны, а такой же человек, как все люди, и что издавна носит он в сердце свою мужицкую правду и в конце концов ее непременно добьется.

IV

Лесник Савелий жил одиноко, без семьи. Поэтому и хозяйство у него было холостяцкое. Держал только коня и собаку. Наверно, это учитывал Валерий Врублевский, когда рекомендовал усадьбу лесника для подпольной типографии. Кто мог к Савелию зайти или заехать? Разве что родители или случайный путник да еще его начальник — лесничий, такой же хороший знакомый Валерия, как сам Савелий.

Словом, лучшего места для тайной типографии, чем усадьба Савелия, не было, тем паче в Гродно или в Белостоке, которые кишмя кишели царскими шпионами и жандармами.

Привлекло Кастуся это глухое место еще и потому, что задумал он расположить здесь и главную военную базу будущего восстания.

Лишних кроватей у Савелия не оказалось, и гости легли спать на сеновале.

Кастусь долго не мог уснуть.

Выход первого номера газеты, наверно, станет для него той межою, которая отделит его сегодняшнюю жизнь от вчерашней. Он берет на себя новую ношу и новые заботы. Хватит ли у него на это сил? Друзья, конечно, будут помогать. Но уже и сейчас ясно было Кастусю, что основная тяжесть всего дела ляжет на его плечи. Он ведь единственный из руководителей Гродненской организации, не связанный с государственной службой. На прошении о службе, которое он подал по окончании университета весной прошлого года виленскому генерал-губернатору Назимову, тот размашисто написал: «Уведомить об отсутствии вакансий». Это была очередная лживая отписка царского чиновника. Напуганный народными волнениями после расстрела в Варшаве, Назимов боялся каждого образованного человека.

И Кастусь жил как придется. Зато был свободен, как птица. Больше всех помогали ему Валерий и Феликс. Домой заглядывал он редко. Отцу сказал, что ищет постоянную службу, и тот успокоился. Впрочем, у отца и так хватало забот: и хозяйство немалое, и семья тоже. Кастусь не ладил с мачехой и, когда учился, старался как можно меньше надоедать отцу с просьбами о деньгах. Он привык жить в голоде и нужде. И когда возвратился на родину, эта студенческая привычка очень ему пригодилась...

Перед самым рассветом он все же уснул. Но спал неспокойно.

Разбудил его голос Савелия:

— Кастусь Семенович, вставайте. Я тут картошки на завтрак наварил.

Не поворачивался у Савелия язык называть его по имени, без отчества, хотя Кастусь и просил его об этом...

Кастусь вскочил, протер глаза. Было ясное утро. На все лады щебетали птицы.

— Ну и ну! — улыбнулся Кастусь.— Как же это я так долго спал?

Вслед за ним встали и все остальные.

— Ну вот, видишь,— сказал дядька Максим,— а ведь грозил поднять на рассвете. Нет, неважный из тебя получился бы тивун!

После завтрака Кастусь вместе с Максимом и Феликсом отправился в ригу, а Савелия и Язэпа попросил

вести наблюдение за дорогой и в случае опасности немедленно предупредить.

— Если что,— сказал он,— сигнальте. Можно свистнуть. Можно кашлянуть. Лишь бы только мы услышали.

Язэп все еще толком не понимал, что такое собираются делать эти новые его знакомые и почему нужно им от кого-то прятаться. Но он чувствовал, что они хорошие люди; его растрогало, что они, как родного, приняли его в свою семью, и он верил им. Он уже сплел себе новые лапти, а Савелий нашел для него в своей кладовке старые оборы и онучи. Он хорошо отдохнул и даже повеселел, хотя на душе все еще было тревожно, все думалось: а что, если его разыщут и вернут к пану Жердецкому? Но когда он поделился своей тревогою с Савелием, тот сказал: «Если кто-нибудь из чужих придет сюда и спросит, кто ты, скажи, что я — твой родственник, вот ты ко мне и пришел. А село твое — возле Соколки. Воробьево называется. Запомнишь?»

Язэп так хорошо запомнил это, что ему казалось теперь, будто Савелий и в самом деле его родственник.

Работать в такой тесной и сумрачной типографии наборщику Максиму Потапчику не приходилось. Вместо наборных касс лежала перед ним на кухонном столике Савелия горка шрифта, перемешанного с другим печатным материалом — пробелами, шпонами, шпациями. Правда, уже вчера, при первом ознакомлении, заметил Максим, что подобран этот материал с толком и со знанием дела. Кастусь подтвердил, что так оно и было: шрифт прислали из самой Варшавы, через Вильно, люди верные и надежные.

— Гм...— проговорил Максим.— Зачем было для этого Варшаву беспокоить? Сказали бы мне, и я бы достал.

— А кто же это знал?

— Феликс знал.

— Тогда не знал еще,— сказал Кастусь,— потому что это тайна, и знают ее даже сейчас всего-навсего семеро, включая Савелия и Язэпа, если он и вообще-то хоть сколько-нибудь кумекает в нашем деле.

— А парень он смекалистый,— улыбнулся Феликс.— Вот бы грамоту ему, хоть букварную!

— А что ж,— подхватил Кастусь,— можно научить. Букваря только нет.

— Букварь я достану,— сказал Феликс.— Только какой лучше — польский или русский?

— Думаю, лучше русский,— сказал Кастусь.— Ведь из польского языка Язэп знает только те слова, которыми оскорбляли его паны и тивуны: «хлоп», «пся крев», «двадесьте или тшыдесьте пеньць»[1] розог или плетей... Хотя, по правде говоря, и русский букварь тоже будет для него трудноват. Каждый учитель знает азбучную истину: начинать ученье надо с самого простого, хорошо известного, и только затем переходить к более сложному, незнакомому. Простым и знакомым был бы для наших детей свой белорусский букварь. Да вот поди растолкуй это русскому царю или его министру просвещения!

— Царь этого не поймет,— сказал Феликс,— ведь у него-то самого первым букварем был французский, а не русский.

— Это верно,— согласился Кастусь.— Но он-то и до букваря знал больше французских слов, чем русских. А русский язык учил он, можно сказать, по необходимости: должен же будущий русский царь знать и русский язык! Вы послушали бы, как все эти придворные, князья и графы разговаривают друг с другом. На два слова русских — десять французских!

— Так что, выходит, они такие же русские, как мы — турки,— усмехнулся дядька Максим.— Выгнать бы их туда, во Францию, пусть себе там калякают с такими же, как сами.

Пока шел разговор, дядька Максим быстро раскладывал шрифт кучками на столе. В каждой кучке была какая-нибудь одна буква. Рядом с большими кучками появились меньшие. В первых были буквы обычные, во вторых — заглавные или так называемые прописные. Отдельно положил Максим и остальной печатный материал. Хозяйство это заняло весь стол, заменявший привычные для Максима наборные кассы.

Кастусь и Феликс с интересом рассматривали литеры и привыкали читать их в обратном виде. Дядька

---

[1] Хлоп — холоп; пся крев — ругательства; двадесьте — двадцать; тшыдесьте пеньць — тридцать пять.

Максим время от времени показывал им ту или иную деталь из набора и объяснял, что она значит и для чего нужна. И вскоре понял Кастусь, что наборный шрифт имеет свою определенную систему. Основа ее — пункты и квадраты. Самая большая мера — сорок восемь пунктов, самая малая — один. Это все равно как аршин и дюймы. Дядька Максим с легкостью определял любую величину прямо на глаз.

Вся эта механика казалась Кастусю и Феликсу очень забавной. И затеяли они игру в пункты — кто отгадает, сколько их в том или другом печатном знаке. И вскоре типографское хозяйство уже не казалось им китайской грамотой. И когда дядька Максим взял наконец в руки верстатку и, поглядывая в рукопись, начал набирать, Кастусь с Феликсом уже не смотрели на его работу, как на чудо.

Дядька Максим сильно уставал, но работал с большим рвением и охотой.

— Да вашу газету не только читать — наизусть заучивать будут,— говорил он.— Хороша. Жаль только, что мала.

— Мал золотник, да дорог,— радовался и Кастусь, видя, как восторгается подпольной газетой первый ее читатель.

— Пишете вы всю правду, ну как сосед с соседом разговаривают. И о самом важном... Ай да Яська из-под Вильно! Кто же из вас за него написал? Не прислал же он свою рукопись в нашу глухомань!

— А почему бы и нет,— улыбался Феликс.— Наш Яська все может!

— А почему же он из-под Вильно? Мог бы быть и из-под Гродно. Или хотя бы из Слонима или из-под Волковыска.

— Мог бы,— переходя на серьезный тон, объяснил Кастусь.— Но скажи, дядька Максим, какого соседа нам интереснее слушать: ближнего, которого знаем мы, как самого себя, или дальнего, который всегда скажет что-то новое и необычное?

— Гм... Верно говоришь,— согласился Максим.— Вильно все же не Волковыск, а центр целого края. Яська из-под Вильно, конечно, больше видит и слышит, словом, знает, что на свете делается.

— То-то и оно. А филерам Назимова — забот полон

рот. Они, пожалуй, бросятся искать Яську под Вильно,— сказал Кастусь.— А там Ясек — пруд пруди. Пока всех перетрясут...

И когда сделали на печатном станке первые корректурные оттиски будущей газеты, дядька Максим попросил Кастуся:

— Сделай одолжение, Яська, почитай, братец, вслух. Теперь-то я знаю, что́ Яська написал, но хочется услышать это своими ушами. Мне все еще не верится, что написано это по-нашему.

— Я, дядька Максим, не Яська, а пол-Яськи или и того меньше,— засмеялся Кастусь.

— Ну ладно,— сказал Максим.— Если так, то каждому по половине.— И он отдал первую страницу оттиска Кастусю, а вторую — Феликсу.

— Вот так — дело другое,— сказал Кастусь.— Это справедливо. Но не позвать ли нам и Савелия с Язэпом? Пожалуй, и им интересно будет послушать. Иди, Феликс, подмени их. А я, так уж и быть, прочту и твою долю.

Феликс вышел из риги и вскоре вернулся вместе с Савелием и Язэпом.

Пристроившись вблизи окошка, Кастусь начал читать. Голос его, чистый и спокойный, лишь кое-где совсем немного возвышался, чтобы оттенить и выделить самое главное.

И все услышали:

«МУЖИЦКАЯ ПРАВДА», № 1

Ребята!

Прошли те времена, когда казалось всем, что мужицкая рука годится только для сохи,— настало нынче такое время, когда мы сами умеем писать, и не просто писать, а писать такую правду истинную, какую, кроме нас, знает, наверно, один только бог. О, прогремит наша правда, как гром, и полетит по белу свету, как молния! Пусть все узнают в этом мире, что мы можем не только кормить всех своим хлебом, но еще и учить правде своей, мужицкой.

Спрашивали и спрашивают все, что слышно на свете, кто нам, бедным мужикам, даст свободу? Но, по правде говоря, мало кто хочет сказать так, как совесть подска-

зывает,— по справедливости. Мы, мужики, братья ваши, мы вам будем говорить всю правду, только слушайте нас!

Чиновники и паны будут задерживать письма наши к вам, но найдутся люди — и из мужиков, и из панского рода, и из горожан — такие, которые вам свободы и счастья желают,— они-то и дадут вам наши письма, чтобы знали вы, кто ваш друг, а кто враг.

Шесть лет уже прошло с того дня, как начали говорить о свободе мужицкой. Говорили, толковали и писали много, а ничего не сделали. А этот манифест, который царь с сенатом и с помещиками для нас написал, такой, что черт знает, на что он похож, никакой в нем правды нет и в помине, и нет от него нам пользы никакой. Понаделали канцелярий, суд учинили, будто нам не все равно, как плетей нам дадут — с судом или без суда. Завели писарей, посредников разных, а ведь все на мужицкие деньги, и большие деньги, черт их знает зачем; для того разве, чтобы в книге записывать, сколько рубцов появилось на спинах мужицких от господских плетей. И видно из этого: ничего хорошего для нас и не думали сделать.

Правда, посулили дать нам когда-то свободу, но, как нам, по нашему мужицкому разумению, кажется, обмануть нас хотят... Могут, конечно, написать и второй манифест, еще длиннее первого, но не будет от него ничего хорошего — так же, как нет ничего хорошего от первого.

От царя и господ нечего нам ждать, потому что они не свободы для нас, а совсем другого хотят: обдирать нас как липку, да еще и глумиться над нами. Но не долго им нас грабить, потому что мы знаем теперь, где наша сила и правда, и будем знать, что делать нужно, чтобы добыть себе землю и свободу. Возьмемся же за руки, братья, и так и будем держаться вместе, пока своего не добьемся! И если паны пожелают идти с нами, тогда пускай поступают по святой справедливости, если же иначе — так черт их побери! Мужик, пока только в силах держать косу и топор, защитить свое сумеет и ни у кого милости просить не станет.

Эту «Мужицкую правду» написал и снова писать будет

Я с ь к а,
крестьянин из-под Вильно.

Уже от первых прочитанных Кастусем строк у Язэпа сильно запершило в горле. Он не раз слышал разговоры мужиков о воле. Но такого он не слышал еще никогда: ведь каждое слово Яськи западало в сердце, волновало до глубины души. Слова все были очень знакомые, его собственные слова, а вот поставлены так, что заставляли и слушать, и переживать: в них ведь — все самые сокровенные мысли и желания мужика, его заветная мечта.

Не меньше Язэпа был взволнован Савелий. Через новую газету, которая рождалась у него на глазах, в его темной риге, говорил с ним человек, который так хорошо понимает, чем он, Савелий, живет и что нужно ему самому знать и о себе, и обо всех таких, как он. Что ни слово — все чистая правда. В лесу поселился Савелий пять лет назад, когда перевел его пан, как и других своих крепостных, на оброк. И назначил оброк, конечно же, сам, без согласия мужиков. Да такой высокий, что хоть от хозяйства отказывайся. Но ведь крепостной и этого не мог сделать, потому что накрепко привязан к своему наделу и к своему пану всеми законами Российской империи. Попробовал бы он только уйти от своего господина, и его разыскала бы царская полиция, где бы он ни прятался, где бы ни скрывался. Потому-то и послал отец Савелия, который немного знал грамоту, в казенное лесничество зарабатывать на оброк. Савелию давно пора бы и о семье подумать — не вековать же весь свой век серым волком в этом лесу! Да вот все проклятый оброк поперек дороги стоит. И конца-краю нет ему и не будет: кончится выплата пану — начнется выплата казне. И все за тот же несчастный клочок дедовской и прадедовской земли. Правду Яська говорит: не желает царь людям добра, а паны ему милее, чем простые мужики. Иначе не дал бы он им такой нелепой воли, которая, пожалуй, ничем не лучше неволи.

Дядька Максим поблагодарил Кастуся за его газету и сказал:

— Вот это, братцы, на самом деле наша мужицкая правда! И дай ей бог гладкой дороги к мужицким сердцам!

V

На другой день дядька Максим поехал с Феликсом в свою Берестовицу. Феликс прихватил с собой сотни две первых экземпляров газеты, чтобы развезти их в разные концы. Максим тоже хотел взять несколько штук в Белосток.

Но Кастусь возразил:

— Вернее будет, дядька Максим, если мы сами перешлем их тебе. Как мы это сделаем? Надо подумать.

— Ну, вам виднее,— согласился Максим.— Пусть будет так.

Феликсу Кастусь не напоминал об осторожности. Он знал, что его друг сделает все так, как сделал бы он сам. Да и, в конце концов, они уже давно договорились, как и какими путями пойдет и поедет их газета к своему читателю. Бóльшая половина тиража, конечно, должна попасть в уездные и окружные организации через Гродненский комитет. И повезет газету в Гродно сам Кастусь. Часть пачек он оставит по дороге Валерию, который связан едва ли не со всеми егерями и лесничими.

Отправив Феликса с Максимом, Кастусь позвал в ригу Язэпа.

— Газету нашу слушал? — спросил он.

— Это те листки, что ты читал?

— Да, брат, эти листки и есть наша газета. Хочешь, чтобы ее и другие люди почитали и послушали?

Язэп даже обиделся:

— Разве не знаешь...

— Ну, если так, то будешь помогать мне печатать газету. А Савелий будет нас охранять.

Язэп сделал большие глаза.

— Ничего, ничего,— сказал Кастусь.— Сейчас все поймешь. Вот, берись за эту штуку.

Язэп схватил обеими руками небольшую деревянную ручку печатного станка.

— А теперь верти. От себя.

— И все?

— Все.

Язэп крутнул ручку, и верхняя часть станка встрепенулась, как живая, и поднялась на винтах вверх. Кастусь тем временем провел по талеру со шрифтом валиком,

смазанным черной краскою, и положил на шрифт лист чистой бумаги.

И пошла работа...

Один раз забрел в ригу Савелий. Очень уж интересно было посмотреть, как печатается газета. Он даже завидовал Язэпу и просил, чтобы Язэп дал и ему покрутить ручку.

Но Кастусь нахмурился и сказал:

— Ты, Савелий, на посту стоишь, понял? Значит, ты — часовой. А часовой не имеет права без разрешения даже с места сойти. Ясно?

Савелий нехотя ушел. Он знал, что Кастусь на ветер слов не бросает: прежде чем сказать что-нибудь, думает, обдумывает. Конечно, любил он и пошутить, но никогда не позволял себе быть легкомысленным.

Хотя печатники и старались изо всех сил, работа шла медленно. За час успевали отпечатать около ста экземпляров.

И все же к вечеру следующего дня все запасы бумаги, которые были у Кастуся, ожили и заговорили голосом вековой мужицкой правды. Теперь это были уже не обычные листы бумаги, а пламенные борцы за народное дело.

Кастусь улыбнулся и сказал своему помощнику:

— Поедем скоро, Язэп, с тобою кое-куда... Согласен?

— А куда?

— Далеко. Отсюда не видать.

— Ладно. Поедем,— кивнул головою Язэп.

Тут же Кастусь вышел из риги и попросил Савелия запрячь коня.

— Надолго? — осведомился Савелий.

— Думаю, дня на три.

— Один поедешь?

— С Язэпом.

— Сегодня или завтра?

— А так — между сегодня и завтра...

После ужина Кастусь обул легкие штиблеты, надел светлый шерстяной сюртук, шляпу. Язэп так и ахнул: перед ним стоял теперь не временнообязанный молодой крестьянин Василь Свитка, а настоящий барин — так сильно изменила облик Кастуся новая одежда. Если бы Язэп увидел его не здесь, у Савелия, а где-нибудь еще,— не узнал бы, пожалуй, своего знакомого.

Перед отъездом Кастусь разложил газеты на две кипы. Бо́льшую пристроил под сиденьем, а меньшую, завернутую в рядно, уложил под ноги. Язэпа посадил на место возницы.

Савелий открыл ворота и пожелал путешественникам счастливого пути. Он не спросил у Кастуся, почему он выехал на ночь глядя. Знал: раз Кастусь делает так, значит, так и надо.

VI

Ехали едва ли не до самого рассвета. И хотя место возницы занимал Язэп, почти все время правил конем Кастусь: ехали зигзагами, по дорогам, известным одному ему. И в каждом селе оставляли «Мужицкую правду»...

Кое-где прикрепляли ее к стенам домов и к заборам, а чаще просто забрасывали во дворы.

На рассвете оказались неподалеку от уездного городка Соколки. Выбрав удобное место для выпаса — зеленый лужок рядом с лесом,— выпрягли коня, спутали ему ноги и пустили на росистую траву. Язэп еле держался на ногах.

— Ложись, Язэп, на сиденье,— сказал Кастусь.— А я за сторожа буду.

Язэпу неловко было занимать место Кастуся. Он попробовал отказаться. Но Кастусь заставил его лечь.

Язэп заснул сразу же, едва приклонил голову на сухое пахучее сено. Кастусь тоже сильно устал. Он шагал вокруг повозки, предавшись своим мыслям. То, что делал он до этого времени,— только первые шаги, еще очень медленные и осторожные, думал Кастусь. Для того чтобы поднять народ на восстание, мало тайных кружков и разговоров о восстании. Мало и отдельных крестьянских выступлений против царской реформы. Кто-то должен объединить все силы в могучий кулак. Кто же этот «кто-то»? Петербург? Там есть светлые головы и горячие, искренние народолюбцы, которые душой болеют за обездоленный народ. Кастусь это знал. Но знал он и другое: пока еще не способен Петербург поднять матушку-Русь. А вот в Польше революция, как говорится, висит в воздухе. И видно по всему, Варшава

первой поднимет знамя освобождения. Жаль только, что действуют варшавяне без согласия, вразброд. Даже петербургские студенты-поляки и те разделились на три партии. Одни примкнули к белым, другие — к умеренным, третьи — к красным, так же, как Кастусь. Белые и умеренные надеялись на мирные переговоры с царем, а о революции и слышать не хотели: она ведь может вместе с царем и помещиков выгнать из имений. Можно ли назвать их революционерами? Вряд ли. В самом деле, захотят ли они поднимать на восстание своих крестьян? И захотят ли сами крестьяне за них проливать свою кровь? Мужику нужна воля. А она придет только тогда, когда на его шее не будут сидеть ни царь, ни помещики и когда он сам будет владеть землею без выкупа...

Перед восходом солнца Кастусь разбудил Язэпа.

— Тут еще верст пять до Соколки,— сказал он.— Если сейчас тронемся, как раз к завтраку и успеем. Валерий нам самоварчик поставит, яичницу поджарит. Я его знаю, он яичницу сам любит, а еще больше любит угощать ею своих гостей. Такой же бобыль, одинокий, как мы с тобою.

Язэп долго не мог очухаться от сна, и коня запряг Кастусь. Потом он дал Язэпу кнут и сказал:

— А теперь я — твой пан, а ты — мой кучер. Гони Стрекача прямо по дороге. Я тем временем немного подремлю.

После небольшой передышки конь пошел веселее. Хорошо смазанные колеса катились без скрипа и толчков.

Взошло солнце. Язэп залюбовался тихим летним утром. И что-то напомнило картины родной Голыновки. Эх, побывать бы там, подышать воздухом родных лесов и полей! Деда Михаля, с которым он, бывало, встречал рассветы, наверно, нет уже в живых: уж очень он был плох. А брат Василь и сестра Наташка, поди, выросли за последний год. Когда теперь он увидится с ними?

Занятый своими мыслями, Язэп и не заметил, как доехали до города. Возле первых хат — в городе были именно хаты, такие же, как в селах, только с трубами над крышами — Язэп окликнул Кастуся. Тот открыл глаза, сладко потянулся и зевнул. Затем сел, как полагается хозяину, на свое место.

— Теперь слушай мою команду,— сказал Язэпу.— Пока держи прямо. А куда и когда свернуть, я скажу.

Городок только еще просыпался. Людей на улицах было мало. Но уже всюду дымились трубы, пахло вареной картошкой, жареным салом, луком и всякими другими кушаньями. Возле хат паслись козы, похрюкивали свиньи. Скрипели колодезные журавли. Пели петухи, кудахтали куры.

Но вот стали попадаться и дома с большими окнами и застекленными верандами. Замелькали и кирпичные домики — низкие, приземистые, лавки и мастерские.

Длинную улицу, по которой ехали Кастусь и Язэп, пересекали поперечные переулки.

— Сворачивай! — сказал Кастусь, указывая в один из этих переулков.

VII

Валерий Врублевский жил рядом с егерской [1] школой, в небольшом деревянном домике, который принадлежал местному доктору. За высоким дощатым забором и широкими воротами зеленел старый сад.

Кастусь спрыгнул с повозки, отворил калитку и вошел во двор. Послышался ленивый собачий лай, но тут же утих. Наверно, собака узнала своего. Кастусь снял с ворот увесистую деревянную слегу. Распахнул ворота и услышал низкий мужской голос:

— Кастусь! Вот молодчина! А я уж, брат, тебя поминал. Тебе не икалось?

С крыльца спускался высокий молодой человек с красивым лицом и темной кудрявой бородою. На нем была белая расстегнутая рубаха и черные брюки, заправленные в юфтевые сапоги. Он долго тряс Кастусю руку, потом обнял за плечи:

— Ну, пойдем, пойдем, брат, в хату.

— Погоди, Валерий, сейчас.

Кастусь достал с повозки изрядную стопку газет и сказал Язэпу:

— Выпряги коня и подкинь ему сена.

---

[1] В этой школе готовились кадры для обслуживания лесных угодий — казенных и помещичьих. В ней же обучались будущие волостные писаря.

Собака снова залаяла, на этот раз — на Язэпа. Но и тут ее ненадолго хватило.

Выпрягая коня, Язэп рассматривал сад — густой, ярко-зеленый, с первой молодой завязью яблок и груш, вишен и слив. Под деревьями буйно росли кусты крыжовника и смородины. Возле крытого крыльца возвышалась над домом старая береза с сильно поврежденной корою на комле. С малых лет любил Язэп березу. Такая же, может быть, только еще более старая береза растет рядом с гумном в родной Голыновке. Весною отец просверливал в ней свежие дырки для сока. На здешней березе тоже много таких дырок. Наверно, хозяева любят сладкий, бодрящий березовый сок. С какой охотой выпил бы Язэп сейчас хоть немного! Да если бы еще был этот сок такой, как дома: настоянный, подкисленный, прямо из погреба...

На крыльце показался Валерий.

— Ну как, устал с дороги? — весело заговорил он.— Задал тебе Кастусь работенку.

— Ничего,— сказал Язэп.— Такая работа — не тяжкая. Не у пана...

Валерию, видимо, понравился ответ Язэпа.

— Верно, брат, говоришь,— подхватил он.— Когда человек трудится не по принуждению, любая работа хороша. Но как ни говори, а после работы человеку поесть надобно. А?

— Надо...— улыбнулся Язэп.

— Ну, а раз так, то давай, Язэп, к столу!

Язэп смутился.

— Спасибо. Я здесь, во дворе...

Валерий, видно, какой-то важный барин. Как же можно садиться с ним за один стол! Такого с Язэпом еще не бывало. Правда, в последние дни обедал он у Савелия за одним столом с Кастусем. Но ведь Кастусь тогда не был барином. Он стал им только со вчерашнего вечера, когда сбросил свои кожаные лапти, серый армяк и крестьянскую фуражку с блестящим козырьком.

— Мой завтрак,— сказал Валерий,— во дворе есть неудобно, даже если ты так любишь. Так что пошли.

И, взяв Язэпа за руку, Валерий повел его в дом. В полутемных сенях снял с гостя армяк и повесил на деревянный крючок.

На кухне, рядом с белой печью, стоял большой таз. Валерий поднял с пола голубой кувшин и, дав Язэпу пахучее розовое мыло, кивнул гостю, чтобы он мыл руки, и принялся осторожно поливать.

Потом они вошли в просторную, светлую комнату, где на мягком пестром диване ждал их Кастусь. На застланном чистой льняной скатертью столе стояла большая сковорода, на которой аппетитно красовалась огромная яичница с салом и колбасой, лежал круглый каравай ржаного хлеба с хорошо пропеченной каштановой корочкой.

Валерий пригласил гостей к столу. Разложил яичницу на три тарелки, нарезал хлеб.

Язэп ел молча, все еще дивясь тому, что хозяин — не простой человек, хотя и живет, как видно, квартирантом в чужом доме,— не вынес ему еду во двор, а позвал к себе и посадил за свой стол рядом с собою. Значит, он такой же хороший человек, как Феликс и Кастусь, не говоря уж о Савелии или о дядьке Максиме. До сих пор Язэп встречал хороших людей только среди бедняков. И это было ему понятно. А вот чтобы люди свободные, ученые не ставили себя выше крепостного мужика да так горячо сочувствовали его беде, такого он никогда еще не видел и не слышал.

Кастусь все время похваливал яичницу и при этом весело шутил:

— И где ты, черт возьми, научился жарить такую отменную глазунью? Не удивительно, что не женишься. Какая жена так сумеет!

Валерий смеялся и отвечал шуткой на шутку:

— А ты что думал, мы лыком шиты или лаптем щи хлебаем? Или, может быть, мы такие же недотепы, как некоторые наши знакомые?..

— Не в мой ли огород сей камешек? — покосился на него Кастусь своими темно-серыми глазами.

— Почему же в твой! Я думаю, Язэп тоже не сумеет зажарить такой отменной, как ты говоришь, яичницы. Правда, Язэп?

Язэп немного растерялся, не зная, что ответить хозяину. И он промолчал.

— Ну вот, видишь,— снова пошутил Валерий,— молчание — знак согласия.

Когда с яичницей было покончено, радушный хозяин

принес из кухни и поставил посреди стола блестящий медный самовар, на котором стоял красивый расписной чайник.

Чай пили тоже по-барски: из маленьких блюдечек с позолоченным ободком и стаканов с чайными ложечками. В отдельной посудине (Язэп не знал, что ее называют сахарницей) лежала изрядная горка колотого сахару, в другой — приятно золотилось свежее масло.

Кастусь наливал всем чай и хвастал, что уж эту-то работу, наверно, никто не сделает лучше, чем он. Это, мол, не то, что яичницу жарить на сале.

— Так за что ж ты, гость неблагодарный, меня только что расхваливал? — прервал его красноречие Валерий.— Короткая у тебя память. Девичья.

После трех стаканов крепкого сладкого чая Язэп почувствовал, что совсем отяжелел, и его потянуло ко сну. Он поблагодарил хозяина и вышел во двор. Там примостился на повозке, на мягком сиденье. И не успел зевнуть разок-другой, как охватил его безмятежный сон.

VIII

Когда уже смеркалось, Кастусь разбудил его и позвал обедать.

— Скоро в Городню[1] поедем,— сказал он.— Перед дорогой поесть надо. Такого повара, как Валерий, вряд ли где-нибудь сыщем.

Язэп выспался за день и почувствовал себя превосходно. Есть ему больше не хотелось. Но возражать он не стал.

Обедали они тоже втроем, в той же комнате. На первое Валерий приготовил картофельный суп с жареным салом и луком, на второе — мачанку[2] из пеклеванной пшеничной муки со свежими свиными шкварками. С того времени, как тивун Дракула забрал Язэпа в имение, не ел он такой вкусной мачанки. Ее готовила мать только по праздникам. И Язэп снова живо представил себе свою тесную хатку в Голыновке, а в ней — отца, мать и мень-

---

[1] Городня́ — старинное народное название города Гродно.
[2] Мача́нка — жидкая мучная каша со свининой.

ших братьев и сестер. К мачанке пекла мать еще и поджаристые блины из гречневой или ячневой муки. Блины с мачанкой! О, какое же это было наслаждение для маленького Язэпки! Мать и отец обычно говорили, что они не очень-то уважают это кушанье, и свою долю тоже отдавали детям. И Язэпу, как самому старшему, доставалась самая большая добавка. Чудаки были родители! Как же это можно не любить мачанку с блинами! В последние годы ел Язэп что попало. Лишь изредка перепадало ему из людской что-нибудь вкусное: немного шкварок или даже затирка[1] с молоком. А обычно ставили на столы у пана Жердецкого и у пана Ясинского картошку в мундире и квашеную капусту или соленые опенки.

Пообедав, Язэп снова поблагодарил хозяина и вышел во двор.

Кастусь, который тоже спал до самого обеда, завел разговор с Валерием о своих делах:

— Едем в Гродно. Куда же еще податься со своим товаром? По пути, конечно, часть посею — пускай люди добрые пожнут. А остаток Эразм[2] разошлет уездным и окружным[3].

— Что ж, Кастусь, первый номер газеты очень удачен, скажу тебе правду,— сказал Валерий, на этот раз серьезно.— Он сделает погоду. Признаться, я до этого не додумался бы. Представляю, как запрыгают холуи его императорского величества, когда дойдет до них наше мужицкое слово. У Назимова глаза на лоб полезут. Ей-богу. Он ведь запретил печатать на белорусском языке что бы то ни было. А тут — крамола, да еще на запрещенном языке. Верно Добролюбов писал: «Посмотрим, что еще скажут сами белорусы». Как это там у него сказано?

— Валерий, ты не помнишь этих — я не боюсь этого слова — классических строк о нашем крае и о наших людях! — воскликнул Кастусь.

---

[1] За́тирка — похлебка из муки.
[2] Эра́зм Забло́цкий — служащий Гродненской строительной и дорожной комиссии, член тайной революционной организации.
[3] Речь идет о начальниках уездных и окружных тайных организаций.

— У меня, братец, не такая память, как у тебя. Я знаю содержание.

— А я, мой друг, помню, как «Отче наш».

— А ну-ка!

Валерий подошел к книжному шкафу, отыскал журнал «Современник».

— Девятый номер за тысяча восемьсот шестидесятый год,— подсказал Кастусь.

— Вот, вот оно, это место. Оно подчеркнуто у меня красным карандашом,— улыбнулся Валерий.— Валяй!

— Пожалуйста.— Кастусь вскочил с дивана, поднял руку и прочел наизусть: — «Относительно белорусского крестьянина дело давно решилось: загнан окончательно, так что даже лишился употребления человеческих способностей. Не знаем, в какой степени ложно это мнение, потому что не изучали специально белорусского края; но поверить ему, разумеется, не можем. Посмотрим, что еще скажут сами белорусы».

— М-да! — проговорил Валерий, с радостью глядя на друга, глаза которого заблистали вдохновенным огнем.— Ни единой ошибки!

— То-то же! — улыбнулся Кастусь.

— А ты знаешь, Кастусь, идея! Давай позабавимся над некоторыми могильщиками Беларуси: пошлем им почтою первое слово белорусского мужика о себе!

Кастусь отрицательно покачал головой:

— Не тронь лихо, пока оно спит. Такая роскошь нам пока ни к чему. Сейчас у нас другая забота: привлечь как можно больше сторонников. Не все ведь, далеко не все разделяют еще наши взгляды.

— Все не все, а капитан Звеждовский — за нас. И я ему верю. И Сераковскому верю. И Домбровскому.

— И я тоже. Но если бы восстание зависело только от таких, как эти трое... Думать надо о сотнях и тысячах людей. Попробуй-ка объединить белых, умеренных и красных.

— Да,— согласился Валерий,— не так-то просто.

— А между тем объединить их всех надо во что бы то ни стало,— продолжал Кастусь.— Восстание — дело всего народа.

— Наши ясновельможные тебя не поддержат,— ска-

зал Валерий.— И дать оружие простому народу они побоятся...

— То-то и оно, что побоятся. И если бы только ясновельможные. Ты ведь знаешь, что думают даже небогатые шляхтичи. Выгнать из Польши русского царя с его чиновниками? О да! Они согласны! И в этом готовы нам помогать. И мы им, конечно, тоже. А дальше? Для них — это предел, а для нас — только начало. Иначе незачем и огород городить.

— Я думаю,— откликнулся Валерий,— нам давно пора разобраться как следует, кто с кем и куда идем мы сами. Для этого советовал бы я тебе, мой друг, отправиться в Вильно или даже в Варшаву. Время не ждет.

— А почему не в Петербург?

— Можно и в Петербург,— согласился Валерий.— Однако Варшава-то ближе. Она больше запасла сухого пороху против тирана. И порох этот в любое время может взорваться. А коли так, то мы должны будем присоединиться...

— Присоединимся,— кивнул головою Кастусь.— Но как соседи и союзники, а не как панские холопы. И вот еще что очень важно. Чтобы покончить с царем, мало одной Варшавы и нас с литовцами. Свободы жаждет и русский народ, и украинцы. Без них если даже мы и свергнем царя, то ненадолго. Он, подлец, спокойной жизни нам не даст. Вот почему я все время думаю о Петербурге и Москве. Они меньше готовы к революции, чем Варшава. Это так. Значит, во имя торжества нашего дела и мы и Варшава должны подождать их.

— Ждать? Но сколько же ждать?

— Этого я не знаю. Во всяком случае, хотя бы до весны. Крестьяне ждут весны как бога. Надеются, что царь-батюшка издаст для них новый манифест и отдаст им землю без выкупа [1]. Царь же этого, конечно, не сделает, не может сделать, даже если захочет. Вот тогда-то и станет народу кое-что ясно и понятно и легче будет его поднять... Так, между прочим, думают и наши петербургские друзья, те, с кем довелось мне разговаривать

---

[1] Весной 1863 года кончался срок введения уставных грамот, после чего временнообязанные крестьяне имели право перейти на оброк и, с согласия помещика, выкупать свои наделы.

перед отъездом на родину. Правда, показалось мне, что некоторые из них больше уповают все же на разночинцев, чем на мужика. Тут я с ними никак не согласен. Земля и воля нужны прежде всего крестьянину, а не разночинцу.

— Одним словом, дело не простое,— вздохнул Валерий.

— Не простое. Это верно. Зато какие горизонты перед нами! Понимаешь, чем больше я думаю о светлом будущем, тем жарче разгорается пламя в моем сердце. Была бы моя воля, я бы вышвырнул из Беларуси, из Литвы и из Польши не только царских холуев и держиморд, но и помещиков. Потому что, если их оставить, они снова найдут себе царя, которого, быть может, назовут по-иному, ну королем, что ли. Но будет этот помещичий король как две капли воды похож на русского царя.

— Так зачем же нам такой король? Разве нельзя обойтись без монарха? Почему бы нам не создать республику на манер французской сорок восьмого года?

Кастусь расхохотался:

— Которая года через три родит Наполеона Третьего?

— Ну знаешь,— возразил Валерий,— в появлении Наполеона Третьего виноваты сами французы. Мы новым Наполеонам ходу не дадим.

— Нет, брат, избави боже от такой республики, во главе которой стоят монархисты. Что даст простым людям такая республика? Французская республика душила свободу точно так же, как король Луи Филипп до нее и император Луи Наполеон Бонапарт, он же Наполеон Третий — после нее. Ты знаешь это не хуже меня. Мне больше нравится первая французская республика конца прошлого века. Впрочем, и она закончилась Наполеоном Первым и... приказала долго жить.

— Так какой же в конце концов республики ты хочешь?

— Я еще не знаю, какой. Но мне по душе мысли о государственном строе, которые высказаны Герценом и Чернышевским.

— Это значит, народная республика без царя и помещиков? Так я тебя понимаю?

— Так. Во всяком случае, каким бы ни был новый строй, он должен быть справедливым, давать абсолютно

равные права и тем национальностям, которые составляют в государствах большинство, и всем прочим гражданам.— Подумав немного, Кастусь добавил: — И не только равные политические права, но и право на равное имущество.

— А не фантазия ли это, брат мой Кастусь?

— Может быть, и фантазия. Но она мне нравится. Французы такую фантазию называют коммунистической. Слышал?

— Да.

— Я не знаю только, как такую фантазию претворить в жизнь. Но зато я хорошо знаю, что люди живут неразумно, что не бог дал одним власть и богатство, а другим — бесправие и нищету. И не бог покарал нашу горемычную Беларусь. За всю свою многострадальную историю никогда не была она свободна. Правили ею все, кому не лень: и литовские кунигусы заодно с нашими собственными феодалами, и польские князья и короли, и русские цари и генерал-губернаторы. Кто же мы такие? «Северо-западный край»,— говорят русские. «Нет, польская провинция»,— твердят поляки.

— Не все русские и не все поляки. Я поляк, а этого не говорю,— перебил его Валерий.

— Ты — поляк по паспорту. И не больше того. Ни единого дня ведь в Польше не прожил и не знаешь, чем она дышит. Вот какой ты поляк!

— Так кто же я?

— Хороший человек,— улыбнулся Кастусь.— И это самое высокое звание. Ну ладно. Поляк так поляк. Будь себе на здоровье поляком. Мне не жалко. Но наш белорусский край — такой же родной для тебя, как для меня. Это вовсе не значит, что душа моя не болит за польских, русских или литовских мужиков. Но хочу я того или не хочу, а мысли мои связаны навек с Беларусью. Кстати, тебе известна ода о славянской дружбе. Помнишь: «Пропадают злые духи, гнет тяжелый исчезает...»?

— Как же не помнить!

Валерий поднялся со стула, взмахнул руками и продолжил:

...Новый гимн святой свободы
Племя новое слагает.
Но в борьбе нас ждут преграды,
Нужны общие стремленья...

Пусть отрады и все муки
Будем вместе мы делить.
Братья! Дайте же нам руки,
Чтобы честно вместе жить!

— Ну вот, видишь,— сказал Кастусь,— а говоришь — память у тебя плохая...

— Это прозу я плохо запоминаю. А стихи — легко. Хочешь, прочту тебе наизусть всего «Конрада Валленрода»? [1]

— Ну зачем же? Я тебе и так верю.

— Нет, не любишь ты поэзию...

— Люблю. И очень. Но сейчас, брат, уже время собираться в дорогу. В другой же раз готов выслушать целиком не только эту поэму, но и «Дзядов», и «Пана Тадеуша» [2]. Что же касается гимна братству, то его прочел ты великолепно.— И Кастусь повторил: — «Братья! Дайте же нам руки, чтобы честно вместе жить!»

— Именно братьями надо нам стать! — восторженно воскликнул Валерий, которому приятна была похвала друга.

— И равноправными братьями,— снова напомнил Кастусь.— Потому что каким братом может быть нашим мужикам, например, граф Солтан, который недавно вызывал солдат избивать своих временнообязанных, и несмотря на это, считает себя либералом, добреньким барином. А что можно сказать о таких «братьях», как предводитель виленского дворянства, жестокий крепостник Домейко, о таких же, как он, Чапском, Радзивилле, Тизенгаузене? Они ведь и сейчас выступают даже против царской реформы, хотя она ничего не дала мужику. И уже умудрились отобрать у своих крестьян едва ли не половину их прадедовских наделов. И это под шумок, прикрываясь разговорами об уставных грамотах. Нет, Валерий, с такими «братьями» нам не по пути.

Валерий внимательно слушал Кастуся. Не впервые беседовали друзья о жизни и борьбе. Но Валерий заме-

---

[1] «Конрад Валленрод» — историческая поэма Адама Мицкевича, герой которой жертвует собой во имя спасения народа.

[2] «Дзяды» и «Пан Тадеуш» — самые крупные поэмы Мицкевича.

тил, что каждый раз говорит Кастусь что-то новое и важное, давая ему, Валерию, пищу для размышлений. Он даже по-хорошему завидовал своему другу. Сам Валерий, вечно озабоченный многими делами в училище и в лесничестве, меньше читал, меньше знал. А с Кастусем он словно забывал о своих учительских буднях и начинал шире смотреть на мир. И открывались перед ним неизведанные пути.

Первым учителем Валерия был его дядя Евстахий Врублевский — ярый враг царского самодержавия. Рано потеряв отца, Валерий воспитывался больше в семье дяди, чем дома. Всю свою ненависть к царю и его порядкам передал Евстахий Врублевский своему любимому племяннику. И когда Евстахий был приговорен к каторге, Валерий хорошо понимал всю несправедливость этого, хотя не было ему тогда и двенадцати лет. Вот почему, когда Валерий Врублевский стал наконец на свои ноги и приехал в Соколку учительствовать, он с первых же дней начал учить своих воспитанников двум наукам — лесному делу и ненависти к русскому царю. А когда вслед за ним вернулся на родину Кастусь Калиновский, близкий друг его студенческих лет, Валерий всей душой привязался к нему. Пылкому, романтически настроенному Валерию как раз не хватало ясного, рассудительного ума и организаторских способностей Кастуся. Они как бы дополняли друг друга, не теряя при этом ни грана своего, индивидуального. У них были разные взгляды на некоторые предметы, но и тот и другой готовы были без колебаний и до конца отдать себя тому делу, которое стало для них превыше всего.

IX

В Гродно Кастусь с Язэпом ехали так же, как и в Соколку: часто останавливались, временами делали изрядный крюк, чтобы не проехать мимо какого-нибудь села. И всюду оставляли «Мужицкую правду».

Перед самым въездом в город, так же, как перед Соколкой, остановились.

Но на этот раз Кастусь поставил часовым Язэпа, а сам лег спать.

— Ты, Язэп,— сказал он,— отоспишься на заезжем

дворе. Мне же там будет не до сна. Разбуди, когда солнце взойдет. Не уснешь?

— Нет,— уверенно ответил Язэп.— Я днем хорошо выспался.

— Ну смотри. Нам нужно попасть в город вместе с первыми крестьянскими подводами. Если какой-нибудь жандарм остановит нас при въезде, скажем: на рынок спешим и больше никаких дел у нас в этом городе нет. Мне для имения, видите ли, до зарезу нужно заводского быка купить, а в Гродно сегодня как раз ярмарка,— шутливо говорил Кастусь.

Но Язэпу было легче сказать, что он не заснет, чем удержаться ото сна. Первые минуты он держался бодро, надеясь дождаться восхода солнца. Но когда вскоре с повозки донесся до него храп Кастуся, у него сами собой начали слипаться глаза и по всему телу разлилась сладкая вялость. Прямо-таки силой приходилось отгонять от себя предательский сон.

Вокруг царила сонная тишина. Только Стрекач, жевавший траву, изредка встряхивал мордой и фыркал. Птицы еще спали. Где-то за кустами, видимо, была река или речушка: веяло оттуда речным запахом.

И снова вспомнилось Язэпу место возле имения пана Ясинского, очень похожее на это. Там пас он свиней вместе с дедом Михалем. И мысли одна за другой поплыли, полетели туда, на родину.

Небо было усеяно легкими тучками. Но на востоке за этими тучками уже явственно пробивался солнечный свет. Летняя ночь коротка. Где-то там, вдалеке, уже просыпалось солнышко, неся с собою людям новый день. Каким будет он для Кастуся, для Язэпа? Ведь Язэп впервые в жизни едет в большой город, о котором слышал много раз. Крестьяне из имения пана Жердецкого, которые там бывали, рассказывали об этом городе чудеса. Говорили, что там такие костелы, что своими крестами небо подпирают. А в самих костелах множество Иисусов и ангелов — вылепленных и нарисованных. Где бы ты ни встал и ни сел, отовсюду они смотрят на тебя и видят, хорошо ли ты молишься. И поместиться в этих костелах могут католики всего города вместе с православными, если бы те тоже захотели поклониться католическому богу.

Сказывали мужики и о старинном княжеском замке

на высоком берегу Немана, где жили князья и даже короли, о железных мостах и железной дороге. Язэп никак не мог представить себе эту железную дорогу, хотя когда-то и рассказывал ему о ней дед Михаль. Силу пара Язэп знал хорошо, потому что и у пана Ясинского, и у пана Жердецкого были паровые мельницы, а у пана Жердецкого была еще и паровая лесопилка. Но ведь там пар вертит жернова или двигает пилы на одном месте. А как может он везти за собою целую кучу домов, которые называются вагонами? Да не пустых домов, а с товарами и людьми.

Проголодавшись за ночь, Стрекач не отрывался от травы. «Его и спутывать было незачем»,— подумал Язэп. Чтобы не уснуть, он шагал взад и вперед, тихонько посмеиваясь над конем, который начал громко чихать, видимо прочищая ноздри, чтобы не перепутать вкусную траву с горькой и несъедобной.

За те несколько дней, которые Язэп прожил у Савелия, он привык к Стрекачу, даже полюбил его. Конь был смирный, не прядал ушами и не брыкался. С ним и поговорить можно было, как с человеком. Он хорошо понимал такие слова, как «но», «тпру», «стой». Очень любил, когда его гладили по шее или по морде. Громко ржал, когда подносили ему сумку с овсом. Одним словом, он совсем не был похож на загнанного Сивака из имения пана Жердецкого. Правда, Язэп не испытывал Стрекача в плуге или в бороне, но видно было, что и там бы он не подкачал.

Небо на востоке тем временем все светлело и светлело. Тучки от этого света таяли и расползались в разные стороны. Кусты, однако, все еще молчали. «Кто же первый нарушит тишину?» — думал Язэп. И вдруг: «Ки-ги, ки-ги...» Ага! Чибис! И сразу же послышалось ответное пение с другой стороны. Откуда-то с поля прилетел жаворонок. И вскоре Язэпу трудно уже было понять, где чьи голоса: загомонили и запели все кусты — ольховые, ракитовые, лозовые. И Язэп позабыл про сон.

Когда же из-за леса, который темнел вдали, брызнули первые слабые лучи солнца, Язэп подошел к повозке и разбудил Кастуся.

— Что? Уже утро? — удивился Кастусь.— А кажется, только уснул...

Он похвалил часового за то, что он хорошо нес службу, и сказал ему, чтобы он распутывал коня.

Пока они собирались, на дороге показались первые крестьянские подводы.

— Вот мы к ним и присоединимся,— сказал Кастусь.— Вместе и ехать веселее.

Чудес городских на этот раз Язэп так и не увидел. Остановились они едва ли не на самой окраине, не доезжая до Немана. После завтрака в корчме Кастусь отправил Язэпа спать на повозке, а сам куда-то ушел.

Долго спал Язэп или не долго, но в самой середине приятного сна — он пас с дедом Михалем свиней в кустах возле речки — Кастусь тронул его за плечо:

— Поднимайся, брат.

Кастусь был не один. Рядом с ним стоял молодой парень.

— Это твой возница? — спросил парень Кастуся.

— А что, плохой?

— Наоборот! С таким можно и до Варшавы доехать. Я думал, мальчишка, а он, вишь, молодец молодцом! Как тебя звать?

— Язэп.

— Хорошее имя. Не то что мое — Эразм.

Кастусь с Эразмом достали из-под сиденья мешок с газетами и понесли на улицу, где, как заметил Язэп, сидел на козлах бородатый извозчик, подпоясанный красным шарфом.

Эразм положил мешок под облучок, сел на бричку и сказал извозчику:

— Поехали!

Извозчик дернул вожжи, хлопнул легкой сыромятной плетью:

— Н-но-о, малый, шевелись!

Кастусь вернулся к Язэпу.

— Домой сам доберешься? — спросил он.

— Домой? Это куда же? — не понял Язэп.

— Ну, к Савелию.

— Так мы ведь не ехали прямиком.

— Да... Вот я и думаю, как тебе туда добраться.

— Не ехать же через Соколку. Тут, поди, дорога другая, ближняя есть.

— Есть, брат, есть. Сделаем так. Я тебя выведу на Индурский тракт. По нему, не сворачивая, в Большую Берестовицу попадешь. А там Феликса разыщешь. Это проще простого. Спросишь, где живет графский землемер Феликс Рожанский, и тебе каждый покажет. Там все его знают. Как попа. Переночуешь у него. Он тебе дорогу к Савелию и покажет. А может, сам и довезет. Скажи ему, если он достал бумагу, пусть напечатает еще газет сотни две. Ты ему поможешь. Он в Брест собирается по своим землемерным делам. Вот по дороге пусть их и разбрасывает.

— А если его дома не будет?

— Так жена его покажет. Он не такой, как мы с Валерием, холостяк-пустоцвет. Скажешь, что я тебя послал. Так-то, господин хороший. Раз прокатишься, а там с завязанными глазами разъезжать будешь. Ты парень смекалистый. Правда?

Язэп покраснел.

— Ну-ну, не смущайся,— сказал Кастусь.— Я, брат, такой: кривить душой не умею. Заслужил — похвалю, не заслужил — отругаю как следует.

Они выехали на Индурский тракт. Кастусь обратил внимание Язэпа на то, какой ширины дорога, какие деревья посажены вдоль нее, чтобы не сбился он на боковую. Объяснил, что попадет Язэп в Большую Берестовицу не раньше позднего вечера. Это если он в полдень, в самую жару, сделает привал, чтобы покормить Стрекача. И после всех этих напутствий показалось Язэпу, что дорога до Большой Берестовицы ему хорошо знакома, и он смело поехал по ней один.

X

В Гродно Кастусю пришлось задержаться, хотя он и не рассчитывал на это. В последнее время он много ездил по селам и местечкам, потом налаживал типографию в усадьбе Савелия, и поэтому меньше внимания уделял остальным делам. А было их немало. Они набегали одно на другое и накапливались.

Из десяти руководителей Гродненской тайной революционной организации в самом городе жило пять человек, в том числе Эразм Заблоцкий. Обо всем, что проис-

ходило в Гродно и во всей губернии, Эразм узнавал одним из первых. Поэтому Кастусь считал его очень полезным своим помощником. Эразм привел в организацию и своего старшего брата Юлия, известного в городе врача. Братья Заблоцкие замещали Кастуся, когда его не было в городе.

Жили Заблоцкие в тихом переулке над Неманом, в небольшом деревянном домике, окруженном забором и высоким густым кустарником. В этом домике и останавливался Кастусь. Частыми гостями бывали здесь и товарищи по организации: землемер казенной палаты Ильдефонс Милевич, офицер корпуса лесничих Ян Ванькович, ксендзы Гинтовт и Зажицкий.

В переулке возле домика Заблоцких всегда стояли крестьянские подводы и городские извозчики: к доктору Юлию приезжали лечиться отовсюду. Так что полицейским сыщикам и в голову не могло прийти, что не одних только больных привлекает домик в тихом переулке.

Делая ставку на широкое народное восстание, Кастусь думал и о его руководителях и организаторах. Где их взять? Простые мужики таких командиров сейчас выделить не смогут, хотя Кастусь твердо верил, что найдутся они и среди мужиков. Их нужно только отыскать и обучить. А сделать это могут люди, которые более или менее подготовлены сами: обедневшие безземельные дворяне, мелкие служащие, волостные писари, лесничие. Командиры повстанцев!.. Им будет доверена судьба восстания.

За последний год кое-что удалось сделать: были созданы тайные группы в уездах и в некоторых маленьких городах. С ними поддерживалась связь и велась переписка через канцелярии Эразма Заблоцкого и Ильдефонса Милевича. Но группы эти были еще небольшие, а деятельность их — незначительной. Не везде еще были постоянные руководители групп — уездные и окружные.

И вот сейчас, после долгого отсутствия, занявшись делами организации, Кастусь увидел, что работы впереди непочатый край. Прежде всего вставал вопрос, что делать уездным и окружным группам — вести агитацию в гуще народной или только создавать тайные десятки, как советовали Варшава и Вильно и с чем не мог согласиться Кастусь. Задача десяток, считал он, не ждать, пока их кто-то позовет в поход, а самим этот поход готовить. Назрел и второй, не менее важный вопрос: где брать

деньги и где доставать оружие и амуницию? До сих пор обходились небольшими взносами самих членов организаций. А как же дальше? Для большого дела нужны большие средства, и в первую очередь средства людей богатых — хотят они того или не хотят. Когда же дать команду собирать эти средства — сейчас или подождать, пока будет ясно, кто с кем идет и куда?

В короткий срок Кастусь с Эразмом предприняли важные организационные действия. Нашли десятки новых людей, которых назначили на разные должности в уездах и округах. Написали и разослали по губернии письма с рекомендацией оградить руководство от богатых магнатов, чтобы те не могли влиять на ход событий.

Живо интересовался Кастусь всеми политическими событиями. У Эразма были близкие друзья в канцелярии губернатора и даже в секретных ее отделах, и они передавали ему копии наиболее важных донесений не только из уездов и волостей, но и из Вильно и Петербурга. Просматривая их, Кастусь обратил внимание на донесение генерал-губернатора Назимова о волнениях в Свислочской прогимназии [1], в которой учился он сам и где все было ему знакомо. Иногда, бывая в Свислочи, он непременно заглядывал на улицу с высокими тополями и на просторный гимназический двор, где прошли невозвратимые и незабываемые годы его детства.

Тоном высокого начальника, с укором писал генерал-губернатор гродненскому губернатору генерал-майору фон Галлеру:

«Дошло до моего сведения, что проживающие в м. Свислочь две молодые вдовы, Илоковичева и Савицкая, а также сестра первой Христина Нарбут делали попытки втянуть учащихся местной прогимназии в политические манифестации, для чего, заводя с ними знакомство, внушали им преступные свои мысли и читали возмутительные прокламации...

Хотя об этом мною не получено от В. п. [2] никакого донесения, я вынужден признать дальнейшее проживание упомянутых женщин в м. Свислочь весьма вредным и просить Вас, м. г. [3], распорядиться о незамедлитель-

---

[1] Прогимназия — неполная гимназия.
[2] В. п. — ваше превосходительство.
[3] М. г.— милостивый государь.

ном удалении их оттуда в другие уездные города вверенной Вам губернии по Вашему усмотрению с установлением за ними строжайшего полицейского надзора».

Внизу Галлер написал: «Приказать исправнику доставить этих женщин в Волковыск, а городничему установить за ними строгий полицейский надзор и сообщить об этом ген. губернатору».

Кастусь жалел своих землячек, которым пришлось покинуть родные места, но вместе с тем очень гордился ими.

— Молодцы! Ей-богу, молодцы! — говорил он Эразму.— Побольше бы таких сообщений! Люблю такого рода произведения господ Назимова и Галлера! — И, немного подумав, добавил: — Вот ищем мы надежных людей среди нашего брата. А женщины, вишь, нос нам утерли. Их не надо чураться!

— И верно! — подхватил Эразм.— Надев траур, женщины, можно сказать, первыми вышли на демонстрацию после варшавского расстрела. В костелах, где служили молебен по расстрелянным патриотам и пели патриотические песни и гимны, тоже было больше женщин, чем мужчин. Так что ты, Кастусь, сделал правильный вывод, хотя ты такой же закоренелый холостяк, как я.

— Ничего, Эразм,— улыбнулся Кастусь.— Мы с тобою женимся в первый же день нашей победы. А пока терпи, казак. Что же касается моего вывода, то я высказал его еще не до конца. Прежде всего мы поможем волковыской полиции.

— Каким образом?

— Установим за землячками и свое строгое наблюдение. Дай, братец, такое задание волковыскому уездному. Они нам очень и очень нужны, так же как и другие, которых мы будем искать. Или еще лучше сделаем так: найдем надежных женщин здесь, в Гродно, и поручим это дело им.

— Постараемся,— ответил Эразм.— Между прочим, интересное событие произошло и в Белостокской гимназии. Слышал?

— Нет. Расскажи, пожалуйста.

— К нашему губернатору дело это не попало. Повидимому, пошло сразу в Вильно или в Петербург. Это было еще в конце апреля. В тамошнем костеле шел молебен по поводу годовщины польской конституции, рас-

топтанной при разделе Речи Посполитой[1]. Оказались там и шестеро гимназистов. Конечно, без разрешения директора: им ведь, беднягам, все запрещено. Об этом узнал белостокский воинский начальник Деконский. Бравый вояка приказал арестовать гимназистов-крамольников. И тут вся гимназия бросилась выручать своих друзей. Отбиваясь от гимназистов, Деконский вызвал казаков. И те зверски расправились с юношами. Более того, Деконский поставил казаков на постой в те дома и квартиры, где живут гимназисты. А избитую до крови шестерку приказал исключить из гимназии и выслать к родителям. Представляешь себе этого держиморду? Говорят, даже сам директор гимназии, некий господин Ган, был возмущен его действиями и пожаловался на него своему начальнику в Вильно.

— Интересно,— проговорил Кастусь, выслушав эту печальную историю.— Даже более чем интересно...

Эразм насторожился.

— Что, может быть, снова какой-нибудь сделаешь вывод?

— Вывод как вывод,— серьезно ответил Кастусь.— А гимназистов нам тоже ни обходить, ни забывать не следует. Это ведь очень организованный народ. Видишь, что делают: добровольно идут под казацкие нагайки во имя дружбы и товарищества. Так делали и мы, студенты. Да и не одно только товарищество тому причиной. Гимназисты ненавидят царских держиморд не меньше, чем их родители. И это ведь не крестьянские дети. Кстати, вычитал я в твоих копиях, как тот же Деконский с жандармом Штейном просвещают деревню. Ты обратил внимание на этот страшный документ? Меня прямо так и трясло, когда я читал. Послушай, что пишет наместник нашего губернатора Назимову:

«Штаб-офицер корпуса жандармов майор Штейн, который находится в Белостоке, донес начальнику губернии, что в Белостокском уезде, в казенном селе Белосточек, в избе каретного мастера Войницкого, открыта исключенным из С.-Петербургского университета сту-

---

[1] Речь Посполйта (дословный перевод — Общее Дело)— так называлось объединенное польско-литовское государство, которое в конце XVIII века было разделено между Россией, Австрией и Пруссией.

дентом Меером без разрешения начальства воскресная школа для обучения крестьянских детей. По слухам, он, Меер, весьма подозрителен в политическом отношении, а посему его превосходительство поручил майору Штейну с белостокским воинским начальником полковником Деконским захватить школу и произвести у Меера обыск.

Сейчас полковник Деконский донес, что 15 числа сего месяца, в 5 часов, он, вызвав майора Штейна и старшего заседателя белостокского земского суда, направился вместе с ними в казенное село Белосточек, в избу каретного мастера Войницкого, где обнаружили открытую Меером воскресную школу и в ней 8 учащихся, а посему, составив об этом акт, допросили хозяина избы Войницкого и Меера. Установив по ответам Меера, что им основана также и ремесленная библиотека, для которой производился им же и белостокским мещанином Лесевичем общественный сбор, допросили по этому поводу и Лесевича. При обыске найдены у студента Меера разные бумаги и азбука, у Войницкого — одна книга на польском языке без цензуры, напечатанная в Познани, и у Лесевича — тетрадь для сбора денег на библиотеку.

В связи с этим воинский начальник приказал белостокскому земскому исправнику и городничему конфисковать у студента Меера и мещанина Лесевича собранные ими деньги и закрыть воскресную школу и ремесленную читальню, объявив по городу и уезду, чтобы подобных школ и общественных сборов не допускалось».

Закончив чтение, Кастусь воскликнул: — Подумай, как можно жить на свете, если рядом с тобою живут такие мракобесы и выродки рода человеческого!

Понемногу успокоившись, сказал:

— А жить нужно. Хотя бы для того, чтобы бороться с этими выродками и с тем строем, который породил их в таком количестве на горемычной нашей земле!

Читая затем другие бумаги из губернаторской канцелярии, Кастусь не мог и не хотел скрывать своего гнева. В разных донесениях и рапортах уездные исправники и мировые посредники, торжествуя, докладывали своим начальникам о тех случаях, когда им с помощью казачьих нагаек и тюрем удавалось сломить непокорных мужиков и вырвать у них кресты[1] на уставных грамотах, а

[1] Имеются в виду подписи неграмотных.

также и спрашивали указаний насчет тех, которых никакой силою невозможно заставить сделать это.

Зато какое удовольствие доставили Кастусю и Эразму бумаги, в которых сообщалось о двух прокламациях, обнаруженных жандармами и пересланных губернатору: «Русским войскам в Польше» и «Русская правда»! Прокламации эти Кастусю были уже знакомы: они попали через тайную организацию русских офицеров западных губерний к Валерию Врублевскому и Яну Ваньковичу. В них говорилось о том, что русские солдаты и вообще все русские люди не должны выступать с оружием в руках против поляков, добивающихся освобождения своей страны из-под царского ярма, а наоборот — помогать им, борясь таким образом и за свою свободу. Это был призыв к единению и братству народов.

На губернатора Галлера эти прокламации, как видно было из скупой официальной переписки, произвели совсем иное впечатление. Назвав их возмутительными, он тут же переслал их со своим сопроводительным письмом в Вильно, а копии всех этих документов — в Петербург, министру внутренних дел Валуеву.

— Судя по всему, нагнали они страха на господина губернатора,— радовался Кастусь.— Посмотрим, как запрыгает он от нашей газеты. Прокламации «Русским войскам» и «Русская правда» печатались в Петербурге, и он за них не отвечает. А вот наша «Мужицкая правда» — дело другое: она ведь печатается здесь, у него под носом.

Кастусь как в воду смотрел. Вскоре Эразм принес ему свежую копию с бумаги, которую только что читал Галлер.

Кастусь читал и перечитывал ее:

Его сиятельству господину военному губернатору
города Гродно
и Гродненскому гражданскому губернатору
Брестского земского исправника

РАПОРТ.

Секретно.

Старшина Вержховицкой волости Семен Дмитрук рапортом от 19 сего июля за № 1 донес приставу 4-го стана, что крестьянин деревни Березовка Мисей Гелич 10 сего июля, жав-

ши на своем поле рожь, нашел в оной обернутый бумагой и крестообразно обвязанный ниткой возмутительный листок под № 1, напечатанный польскими буквами на простом крестьянском наречии, под заголовком «Мужицкая правда», каковой представил ему, приставу, объявив, что листки эти в 5 экз. найдены были на полях деревень Березовка, Ясеновка и Радовичи, из коих 3 экз. разорваны самими крестьянами, один отобран от мальчиков вержховицким ксендзом Желешкевичем, а пятый представлен в становую квартиру.

Предъявляя при этом означенный листок вместе с другими, взятыми у ксендза Желешкевича одного и того же содержания, имею честь почтительнейше донести, что по самотщательнейшему местному разысканию виновных в составлении и раскидании таковых листков по полям не обнаружено и что между крестьянами как означенных четырех деревень, так и других соседствующих, листки эти не произвели ни смятений, ни вредных толков. Буде же впоследствии времени что-либо откроется по сему предмету, я не премину в свое время донести Вашему сиятельству.

Земский исправник Маслов [1].

— Вот и таких рапортов, Эразм, приноси, пожалуйста побольше! — почти прокричал Кастусь.— Ай да Маслов! Вишь ты, успокаивает губернатора: не теряйте мол, сознания, ваше превосходительство, возмутительные листки не причинили нам вреда. Ой, не верю я тебе, любезный мой исправник! Небось дрожали у тебя, верноподданного, и колени и руки, когда строчил свой донос. А теперь дрожит и сам господин губернатор, и глаза у него лезут на лоб, когда читает он о себе и о царе-батюшке. И не посмеет он выбросить нашу «Мужицкую правду», хотя она ему и руки жжет. И пишет уж, поди, доносы и в Вильно, и в Петербург. Зашевелилось змеиное гнездо! Жизни спокойной им теперь не дадим. Хорошо. Очень хорошо. Вижу, пора мне возвращаться к Савелию и печатать следующий номер. А с ним — в Вильно!

Но Кастусю не удалось сразу осуществить свой план. Уже перед самым его отъездом Эразм получил для него

---

[1] Этот рапорт, в отличие от других приведенных в книге документов, несколько исправленных стилистически, дан точно по оригиналу.

письмо из Вильно. Автор письма, назвавшийся Людвиком (Эразм и Кастусь сразу поняли, кто он), приглашал Кастуся в гости.

«Приезжай, брат Кастусь,— писал он,— приезжай непременно. Давно мы с тобою не виделись. Хочется поговорить с близким человеком. Будут все наши знакомые. Бросай все дела и приезжай!»

Было ясно: председатель Виленского комитета движения Людвик Звеждовский вызывает его на очередное собрание. И он в тот же день отправился в Вильно.

XI

Кастусь не ошибся: «Мужицкая правда» словно обухом по голове оглушила генерал-майора фон Галлера. Это был уже не первый удар, нанесенный ему революционерами. Незадолго до этого одна польская подпольная газета посвятила ему лично не очень-то приятные строки: «За наглость и мошенничество, за преступления и притеснения в канун отъезда его превосходительства в Гродно шлем ему свои поздравления». Газета издевалась и над самим Галлером, и над теми помещиками и чиновниками, которые заискивали перед высокопоставленным монархистом.

Галлер не заслужил ни единого доброго слова честных людей ни на предыдущей должности начальника канцелярии Назимова, ни на нынешней — гродненского губернатора. Его проклинали самыми страшными проклятиями. Он как никто выслуживался перед начальством. И потому совсем не случайно поручил ему Назимов председательствование в следственной комиссии при генерал-губернаторе. Галлер изо всех сил старался оправдать этот знак внимания и, как верный пес, искал и находил крамолу даже там, где не было ее и в помине. И когда весною посыпались из Гродно тревожные рапорты и доносы о народных волнениях, Назимов, не задумываясь, послал туда губернатором своего верного слугу. И даже выхлопотал для Галлера, который был в то время полковником, чин генерал-майора.

Высокое положение окончательно вскружило ему голову. Но он знал, что расположение Назимова легко и потерять, а уж этого-то ему никак не хотелось. Напротив,

он рассчитывал воспользоваться своим возвышением для дальнейшего продвижения по службе и — чем черт не шутит! — быть может, через некоторое время очутиться в столице, в узком кругу тех счастливцев, которые стоят близко к трону.

И вот теперь, когда секретарь канцелярии принес и прочел ему новую подпольную газету с таким необычным названием, он вдруг почувствовал, как почва заколебалась под ним, словно от сильного землетрясения.

Сперва он не поверил секретарю. Выхватил у него из рук газету и начал читать сам. Вспотел. Расстегнул свой белый генеральский китель и попросил секретаря открыть все окна в кабинете, стены которого были увешаны портретами царя и великих князей. Грузный шестидесятилетний генерал поднялся из своего кожаного кресла и, тяжело отдуваясь, прошелся по кабинету. Прежде всего он подумал о том, что подпольная газета может повредить его карьере. У него даже возникло желание вообще не поднимать никакого шума, то есть утаить появление газеты от начальства. Но он тут же отмел эту мысль, уразумев, что если кто-нибудь пошлет газету Назимову или в Петербург помимо него (а жандармы почти наверняка сделают это), то ему тогда несдобровать.

Таким образом, оставался единственный выход — найти и схватить тех, кто напечатал «Мужицкую правду».

И Галлер приказал вызвать жандармского штаб-офицера Лелякова.

Этот главный в губернии жандарм подчинялся не одному Галлеру, а и своему жандармскому начальству, которое возглавлял начальник всех тайных и явных доносчиков, шеф жандармов князь Долгорукий. Начальников у Лелякова было более чем достаточно. И всем им он обязан был посылать рапорты о каждой, даже самой незначительной мелочи, которая так или иначе, с той или с другой стороны затрагивала государственные устои Российской империи в Гродненской губернии. До сих пор справлялся он со своими обязанностями неплохо, умел угождать всем начальникам.

Узнав, в чем дело, Леляков заволновался не меньше Галлера. Как же так! Где были его жандармы и тайные агенты? Почему не схватили негодяев, печатающих крамолу? Все это задевало за живое его жандармскую гордость и честь. Это ведь не рапорты становых и исправни-

ков о том, что в какой-то деревеньке временнообязанные не вышли на барщину, или о том, что где-то избили сельского старосту и отобрали у него казенную печать, чтобы не мог он поставить ее на подложной уставной грамоте. О такой ерунде даже писать рапорт не хотелось: настолько все это мелко и однообразно.

Щелкнув каблуками и козырнув, жандармский майор воскликнул запальчиво:

— Всю губернию перетряхну, ваше превосходительство! Разрешите начинать розыск.

— Подождите, майор, не торопитесь,— остановил его губернатор.— Вы человек военный...

— Так точно, военный.

— Так вот. На военном языке это называется операция, а не розыск. Тут криминалистикой, господин майор, не отделаешься. Продумайте всю операцию — от начала и до конца, составьте план и покажите его мне. Кстати, что вы думаете об этом Яське из-под Вильно? Это что, маскировка?

Как бы хотелось Галлеру, чтобы автор «Мужицкой правды» оказался виленским жителем! Тогда ведь все хлопоты со своих плеч можно было бы сбросить на Вильно!

Леляков вскинул свои густые брови и пожал плечами.

— Если это и маскировка, то никакого смысла в ней я не вижу. Не думаю, что какой-то Яська живет под Вильно, а печатает свою крамолу для наших мужиков на их мужицком наречии. Виленский Яська скорее объяснялся бы по-литовски или по-польски. Но кто бы он ни был, мы его найдем. Я подниму на ноги всю жандармерию — и в нашей, и в соседних губерниях.

Такое категорическое заявление жандармского штаб-офицера немного успокоило перепуганного губернатора. Пожалуй, и в самом деле этот бравый жандарм найдет концы. О, как было бы приятно повидаться с негодяем, который посмел так нагло заявить о себе!.. М-да-с... Но пока он, к сожалению, еще на свободе и придется, как это ни печально, писать рапорт Назимову, рапорт, за который его, Галлера, вряд ли похвалят...

XII

Пока генерал-губернатор Северо-Западного края Назимов, так же как Галлер, ломал голову над тем, кто такой Яська, крестьянин из-под Вильно, и где его искать, этот самый «крестьянин» находился рядом со зданием генерал-губернаторства, в одном из старых виленских домов на Доминиканской улице, и вел спор со своими товарищами из тайного Комитета движения. А руководил этим Комитетом не кто иной, как адъютант его превосходительства Назимова капитан Людвик Звеждовский...

Назимов, конечно же, не мог и предположить, что адъютанта для него подбирал не военный министр, а друзья Людвика из Петербургской тайной военной организации и что рекомендовал его на эту должность капитан Генерального штаба Зигмунд Сераковский с согласия Николая Гавриловича Чернышевского...

Восстание в Польше готовилось не первый год. Оно пустило глубокие корни не только в Варшаве и в Вильно, но и в самом Петербурге.

На заседание Комитета движения пришли и приехали инженер-поручик из штаба Виленского военного округа Ян Ко́зел, Кастусь Калиновский, виленский врач Болеслав Длусский, бывший студент Петербургского университета Эдмунд Верига, учитель пения, он же фотограф и писатель, итальянец Джузеппе Ахилла Эльвиро Банольди, инженер-путеец Владислав Малаховский и молодые помещики Зигмунд Чехович, Антон Залесский и Ежи Кучевский.

Но, пожалуй, самым важным лицом на этом заседании был Нестор Дюлеран, рекомендованный Варшавой представитель Центрального национального комитета. Он, так же как Малаховский, был виленским железнодорожным служащим и службу свою нес настолько ревностно и усердно, что высокое начальство из управления Виленско-Варшавской дороги неоднократно ставило его в пример остальным служащим. Так что законспирирован он был весьма надежно. К тому же Нестор был старше других членов Комитета, и это тоже, по-видимому, послужило одной из причин того, что ему, а не кому-нибудь другому была доверена такая важная миссия.

Открывая заседание, Людвик Звеждовский коротко доложил членам Комитета о том, что сделано организа-

цией за последние месяцы, и представил собравшимся Нестора Дюлерана. Перед ними предстал невысокого роста, худощавый, с темной бородкою и серьезным, сосредоточенным лицом представитель Варшавы.

Он сразу же попросил слова.

— Пожалуйста, гражданин Дюлеран,— сказал Людвик.— Слушаем вас.

— Уважаемые граждане и друзья! — торжественно произнес Нестор.— Я хочу дополнить речь нашего первого докладчика, гражданина Людвика Звеждовского, новыми сведениями, которые я имел честь недавно получить из Варшавы через специального посланца. Это очень важные сведения. Центральный национальный комитет принял план немедленного восстания в Королевстве Польском и Литве...

Все заволновались. Известие это было не только важным, но и совершенно неожиданным. Все считали восстание делом если и не далекого, то уж во всяком случае и не такого близкого будущего. А тут, оказывается, готов даже и план...

Кастусь вскочил.

— Немедленно восстание? — переспросил он.— Вы не оговорились, гражданин Дюлеран? Немедленно восстание, насколько я понимаю, означает восстание сегодня или завтра...

— Я не могу точно ответить на ваш вопрос, гражданин Калиновский,— спокойно ответил Дюлеран.— День восстания еще не назначен. Но я полагаю, что Центральный комитет призывает нас быть готовыми выступить в любое время.

— А кого мы поведем на восстание? И где наше оружие? Об этом Варшава подумала?

Людвик попросил Кастуся помолчать. Кастусь согласился. Но через некоторое время он забыл о своем согласии. И когда Дюлеран сказал, что Варшава не возражает против поднятия роли Литвы в восстании и переименования Виленского комитета движения в Литовский провинциальный комитет, Кастусь снова перебил его:

— А почему провинциальный, а не просто Литовский?

Друзья зашикали на него.

— Неужели вы считаете,— сказал Зигмунд Чехович,— что Литву можно объявить самостоятельным государством?

— Во-первых, гражданин Чехович, почему только Литву? — бросил Кастусь.— А Белая Русь? Она что, тоже только провинция?

— Граждане, граждане! — заволновался председатель.— Немного терпения! Прошу вас, гражданин Дюлеран.

— Белая Русь никогда не была самостоятельным государством,— вмешался в разговор Ежи Кучевский.

— А кто в этом виноват?

— Не я же...— пожал плечами Кучевский.

— И не белорусы же!

— Граждане, граждане!..

Кастусь умолк.

Дюлеран говорил долго и как будто бы гладко, но, казалось Кастусю, говорит он не то, что нужно говорить. Если он излагает мысли не свои, а Центрального комитета, то, видимо, и там не понимают, что происходит на свете. Самое важное Дюлеран либо обходил, либо ставил на последнее место. Складывалось впечатление, что Варшава больше надеется на революционный Комитет русских офицеров в Польше и на зарубежных эмигрантов-поляков, чем на собственные силы. Конечно, генерал Мерославский [1] не скупится на обещания. Но он ведь генерал без армии! Русских офицеров, на которых можно положиться, десятки. А тех, которые наверняка не присоединятся к восстанию,— сотни. Какую же тогда силу выставит Центральный комитет против регулярной царской армии? В планах Варшавы Кастусь такой силы пока не видел. В Гродненской губернии, например, только начинается формирование отрядов.

И как ни сдерживал себя Кастусь, он все же не мог спокойно слушать Дюлерана и, так сказать, думал вслух, то перебрасываясь несколькими словами со своим соседом Малаховским, то перебивая докладчика. Малаховский, который был достаточно тверд в своих убеждениях, почти во всем соглашался с Кастусем. Особенно не нравилась ему излишняя деликатность, которая сквозила в некоторых фразах докладчика.

— Вы собираетесь поднимать восстание в белых перчатках! — гневно воскликнул он, когда Дюлеран заго-

---

[1] Мерославский Людвик — участник восстания 1830 года. Примыкал к партии красных. Эмигрант.

ворил о том, что налог на помещиков, который пойдет на нужды восстания, не должен превышать десяти процентов их дохода.

Кастусь захлопал в ладоши:

— Правильно, Владислав!

Он и сам терпеть не мог эдакой щепетильности, когда шла речь о восстании.

— На алтарь освобождения надо ставить все — и имущество, и жизнь,— сказал он.— Доходы помещиков добыты не их трудом. Это народные доходы. Значит, и они должны служить народу в тяжкую годину его истории.

Дюлеран сообщил о том, что обещает Центральный комитет крестьянам — помещичьим и казенным. Обещания были неплохие, пожалуй, даже хорошие. Но и они не доходили до сути. Передать крестьянам их наделы без выкупа. Это правильно. Сами крестьяне как раз этого и хотят. Нарезать по три морга [1] из казенных земель безземельным участникам восстания. Тоже недурно. Но зато вся остальная земля, то есть львиная доля угодий, остается у помещиков. Какое уж тут равенство сословий, о котором уже раз десять говорил докладчик! Равенство состоит не только в том, чтобы называть и помещика, и крестьянина гражданами, как предлагают красные. Мужики о таком равенстве говорят: «Называй хоть горшком, только в печь не ставь».

Конечно, хорошо и то, что Центральный комитет обещает не наказывать никого без суда, снизить цены на соль, махорку и нюхательный табак, сократить срок солдатской службы до шести лет, построить новые костелы и даже открыть польские школы для всех сословий — высших и низших... А о тех, кто ходит молиться в церкви, а не в костелы, и слова не сказано. Да и польские школы для детей виленских или гродненских мужиков — не такая уж заманчивая вещь. Они ведь не поляки, а белорусы, литовцы, русские... А в программе и об этом тоже ни звука.

Не понравилось Кастусю и то, что будущее польское государство собирается платить помещикам за крестьянские наделы. Где же оно возьмет деньги на это? У тех же крестьян... Не кием, так палкой!

Наконец Дюлеран кончил свой доклад и сел за стол

---

[1] Морг — мера земли, равная $^2/_3$ десятины.

рядом с председателем. И тут заговорили все сразу. Одни — об оружии, откуда и где его взять, другие — о том, что время восстания еще не назрело, третьи требовали ответа на вопрос: кто должен стать главной силою восстания — помещики с разночинцами или городская голытьба с мужиками?

Людвик Звеждовский пытался угомонить собравшихся, но тщетно.

Члены Комитета яростно спорили друг с другом. Кастусь Калиновский почти ни в чем не был согласен с докладчиком. Молодые помещики Залесский, Чехович и Кучевский не только вторили Дюлерану, но даже пытались в своих репликах свести восстание к мирным демонстрациям. А Верига и Ко́зел заявили, что не верят в возможность мирных переговоров с царем, но боятся поднимать на восстание самих мужиков.

Сам председатель тоже колебался. Кастуся он знал давно, еще по Петербургу, и любил его как младшего брата. Но Кастусь все же был для него какой-то уж очень мужицкий. Людвик рос и воспитывался в Вильно. Потом учился в Петербурге. И хотя он сочувствовал крестьянам, но, конечно, не так, как Кастусь. Он никогда не носил на плечах крестьянской сумы, не обувал лыковых или лозовых лаптей, не ночевал под соломенными крышами. Да и национальный вопрос не так уж сильно его волновал: ну, провинциальный Комитет так провинциальный! Решено будет главное, тогда можно будет подумать и о том, быть или не быть Литве провинцией Варшавы. В настоящий момент, думал он, такие вопросы только мешают делу, уводят в сторону.

Докричавшись до потери голоса, члены Комитета попросили Кастуся более четко обосновать свое несогласие с Варшавой или уйти с заседания, чтобы дать остальным сделать попытку договориться сначала между собой.

Разволновавшийся до предела Кастусь сказал:

— Мои мысли, уважаемые друзья и граждане, вам известны. У меня они не расходятся с делом. А нам сейчас пора переходить именно к делу. Одними разговорами восстание не поднимешь. Всем вам я роздал первый номер нашей газеты «Мужицкая правда». Так что, как видите, я представляю себе восстание только вместе с крестьянами. Больше того: они, крестьяне, а не подполь-

ные группы, которые делите вы на десятки и сотни, должны стать основой нашей армии. Не сотни нам нужны, а тысячи и десятки тысяч. А что получается? Варшава собирается выступить во главе армий, которых нет...

— Неправда! — прервал его Чехович.— Сила у нас немалая!

Кастусь поднял руку:

— Прошу, друзья, меня не перебивать, хотя я иногда и перебивал докладчика. Сами попросили меня высказаться, так уж потрудитесь дослушать до конца. Итак, сколько сейчас царских войск в Польше и в наших губерниях? Над этим вы думали?

— Таких сведений военный министр не публикует...

— И правильно делает. Это его тайна. Однако нам надо раскрыть эту тайну, прежде чем двинуть в бой свои армии. Так вот. По моим данным, только в одном Виленском военном округе насчитывается сейчас не менее шестидесяти тысяч штыков и сабель. Прибавьте к этому сотни две с половиною пушек. Повторяю, это сейчас. А если начнется восстание? Сколько новых казацких частей бросит на нас военный министр уже за какой-нибудь первый месяц? А что выставим мы? Есть у нас такая армия? — Кастусь перевел дыхание и продолжал: — Вы молчите. И я тоже ничего по этому поводу сказать не могу. Нам говорят, как только мы выступим, к нам тотчас же присоединятся отряды революционно настроенных офицеров. Дай бог. Я очень этого хочу. Но что, если их будет так мало, что их легко обезоружат в первый же день их же однополчане? Что тогда? Нам говорят: Мерославский готовит войска за рубежом. Хорошо. Очень хорошо. Пожелаем ему удачи. А если и эти войска прорвутся к нам через границу только тогда, когда и помогать-то будет некому? Нет, дорогие мои граждане, люди говорят: на бога надейся, а сам не плошай!

— Так что же делать? Отказаться от восстания?..

— Ни в коем случае! Напротив: готовить широкую народную войну, как советует делать это Николай Гаврилович Чернышевский. Кстати, пришло весьма печальное для нас известие о том, что он арестован. Слышали об этом?

— А нам-то что? — бросил Чехович.

— А то, что Чернышевский был первым нашим союзником... Мы надеялись на братское боевое содружество

с русским народом. Теперь же рухнула и эта надежда. И решить дело может ныне только сам наш народ. Надо выковать оружие и дать его мужику. Если не винтовки со штыками, то хоть косы с пиками или острые топоры.

— Ого! — воскликнул удивленный Козел.— Смелая мысль. Ей-богу, смелая!

— Не смелая, гражданин Козел, а, простите за нескромность, попросту разумная,— ответил Кастусь.

— Да, но хватит ли мужицкого разума, чтобы понять нашу цель? — сказал Верига.— Мужик против царя-батюшки не пойдет.

— Вы правы, гражданин Верига. Мужик нас пока еще не понимает. Но он поймет нас, когда мы сами поймем его и когда мы пойдем к нему и докажем, что без войны с царем и помещиками земли и воли он не добудет. Это мужик поймет легко. А поняв, не пойдет, а побежит к нам!

Все снова зашумели.

— Но ведь это, гражданин Калиновский, не наша цель! — вспыхнул Кучевский.— Вы призываете к войне между сословиями!

— То есть к крестьянской революции,— добавил Чехович.— Я думаю, Комитет должен запретить вам излагать такие опасные мысли в своей газете. Наша задача — помирить мужика с помещиком, а не разжигать ненависть.

— Революция помешает национальному делу...— закивал головою Козел.

— Я думаю, граждане,— сказал Кастусь,— наш Комитет должен прежде всего решить основной вопрос: кто мы? Если только польская провинция, то, естественно, нам нечего ломать головы: что скажет Варшава, то и делай. Я же согласен идти с Варшавой одной дорогой только как равный с равным. Мы поможем братьям полякам в их борьбе за национальную свободу. За это они должны помочь завоевать национальную свободу нам, литовцам и белорусам. И если с самого начала мы договоримся о равенстве, тогда мы вольны декларировать и свою программу. И написать в ней: «Вон царя и его приверженцев из Литвы и Белоруссии! Вон польских и всех прочих магнатов-кровопийц с нашей земли!» Пойдет ли тогда за нами мужик?

— Еще бы! — откликнулся Малаховский.— Я за такую программу!

— Господа магнаты за нами, конечно, не пойдут,— продолжал Кастусь.— И не надо. А вот их средства мы возьмем для своего дела, и возьмем, не высчитывая малых процентов, а полной мерою! Иначе кто же нам даст эти средства? Крепостные крестьяне? Городская голытьба? И еще одно обстоятельство сильно тревожит меня, граждане члены Комитета: почему Варшава держит у себя Белостокское воеводство? Выходит, что нам нет никакого дела до того, что происходит в Брестском, Кобринском, Пружанском уездах? Но ведь все это — наша гродненская земля! Начальник воеводства Бронислав Шварц сейчас отозван Центральным комитетом в Варшаву. Однако воеводство свое он нам так и не передал, хотя я не раз говорил с ним об этом. И воеводством по-прежнему управляет Варшава, а не Вильно.

Кастусь сказал друзьям не все, что собирался. Но самое главное и наболевшее сказал. И когда он кончил, споры разгорелись с новой силою. Слушали более или менее спокойно только Людвика. Он говорил, что ему нравятся мысли Кастуся Калиновского. Они свежи и новы. Но, к сожалению, оторваны от действительности. Мужика на восстание сейчас не поднимешь. На это потребуется много лет. Кастусь посоветовал Людвику прочесть в «Современнике», что говорит о белорусском мужике Добролюбов. Людвик ответил, что знает это высказывание, но полностью с ним согласиться не может. Сейчас надо решать самую важную задачу: выгнать русского царя из Польши и ее окраин. Кастусь снова перебил его: «Каких окраин?», на что Людвик ответил, что Кастусь сам хорошо знает, о чем идет речь. Как только мы сбросим царское ярмо, тогда можно будет спокойно подумать обо всем остальном. Как выгнать царя, какой силою? Конечно же, силою всех сословий, а не одних мужиков, как советует Кастусь Калиновский. Правда, он, Людвик, понимает Кастуся, с уважением относится к его искреннему сочувствию к простому народу, но глубоко убежден, что одни простые люди с царем не справятся, как бы они того не хотели. Так что не следует отталкивать от восстания и небогатых дворян-землевладельцев, таких, как граждане Кучевский, Залесский, Чехович. Они — не магнаты и ждут освобождения так же,

как и все другие честные патриоты. Бывших своих крепостных не мучают они подневольным трудом, а перевели на оброк. Однако и ускорять восстание, как думает Варшава, рискованно. Литва к нему еще не готова, и об этом мы должны ясно сказать Варшаве. В конце концов, она должна согласовать с нами время восстания, а не диктовать нам свою волю. Мы все-таки не какая-нибудь Люблинская организация. Это тоже надо понимать...

— Сейчас — точно такая же! — выкрикнул Кастусь.

— Но мы ведь — Беларусь и Литва, а не одно воеводство!

Людвик и не заметил, как начал говорить словами Кастуся, хотя и не собирался делать этого. Весело улыбаясь, Кастусь обратился к членам Комитета:

— Прошу засвидетельствовать, граждане: это не я говорю.

Все рассмеялись следом за ним.

— Это говорит сама логика событий,— продолжал Кастусь.— Рано или поздно мы поставим вопрос: кто мы? Провинция или нет? Восточная часть Польши или Литва, Беларусь, Украина?

Звеждовский на эти вопросы не ответил. Но согласился с Кастусем насчет Белостокского воеводства.

— Белостокская организация несомненно должна подчиняться нам,— сказал он.— Попробуем договориться об этом с Варшавой...

Людвика Звеждовского сменил Нестор Дюлеран. Его почти никто не слушал, потому что все спорили друг с другом и каждый — с Кастусем.

— Это сепаратизм![1] — кричал до того спокойный Дюлеран, возбужденный высказываниями Кастуся по поводу самостоятельности для Беларуси и Литвы.— Наша задача в такое время — не распылять силы, а объединять. Мы не отталкиваем от себя крестьян. Наоборот, зовем их к восстанию... Но не имения поджигать... Все мы здесь с удовольствием читали вашу «Мужицкую правду». Очень хорошо, что вы в форме, доступной для крестьянина, и на его же языке рассказываете ему о царе и реформе. Но то, что услышали мы от вас сегодня,— это нечто совершенно новое. До этого не додумался даже

[1] Сепаратизм — стремление обособиться, отделить от государства ту или иную ее часть.

Гарибальди, которого мы все глубоко уважаем. Не крестьянская революция нам нужна, а национальная!..

Безземельные дворяне Верига и Козел не защищали помещиков, но говорили, что боятся анархии [1], к которой может привести крестьянская революция.

И только один Владислав Малаховский крепко пожал руку Кастусю.

— Я, брат, с тобою! — коротко сказал он.

— Спасибо, Владислав,— отвечал Кастусь.

То, что он не остался в одиночестве, ободряло его и придавало ему сил. Ему так хотелось переубедить членов Комитета. Он считал их неплохими людьми, которые заблуждаются и поэтому не могут понять, что он прав. Увлеченные одной только национальной идеей, они забывают обо всем остальном, даже о трагических уроках прошлого. Верят легкомысленным руководителям, таким, например, как генерал Мерославский. Переход горстки русских офицеров на их сторону готовы принять за серьезную победу. Кастусю даже нравилась такая наивная вера в торжество дела восстания. Но сам он смотрел на мир шире и видел дальше, наверно, именно потому, что был «хлопоманом» [2], как называли его виленские и варшавские друзья. Перед его глазами всегда был образ бесправного крепостного крестьянина. Вот кому поклялся он посвятить свою жизнь, вот о ком думал он прежде всего.

...Заседание затянулось. Десятки раз обговаривали одно и то же, к полному согласию так и не пришли. Правда, название «Комитет движения» заменили новым: «Литовский провинциальный комитет». Калиновский и Малаховский согласились с этим, чтобы не вносить разлада в работу тайного штаба. В конце концов, думал Кастусь, главное — создать народную армию. И пусть она скажет свое слово: его лучше услышат тогда и в Вильно, и в Варшаве.

---

[1] Анархия — безвластие.

[2] Хлоп (польск.) — раб, крепостной крестьянин. Хлопоман — защитник и приверженец обездоленных и униженных господами крепостных людей.

XIII

Воротясь к Савелию, Язэп сильно затосковал. Ему не хватало Кастуся, к которому он успел привыкнуть и привязаться. Савелий ежедневно делал обходы, ездил по своим делам к объездчику и лесничему или в Берестовицы — Большие и Малые. Язэп же сидел дома один. Иногда лесник оставлял ему и Рыжика — старого рыжего пса. Но Рыжик мало веселил его. Ленивый пес целыми днями спал на солнце возле будки или нехотя ловил мух, когда те лезли ему в рот. Лаял редко и мало. Только если уж очень резвая белка спрыгивала с ели на крышу или даже на крыльцо, подавал голос, чтобы показать, что здесь, во дворе, хозяин он, а не кто-нибудь другой.

Тоскуя в одиночестве, Язэп часто вспоминал о своих друзьях из имения пана Жердецкого. Как они там живут? Что думают о нем? Ищет ли его пан? А главное — так хотелось бы ему увидеться с дядькой Егором и порадовать его «Мужицкой правдой»: один экземпляр он спрятал себе на память. К тому же дядька Егор немного читает и по-польски и по-русски. И он прочел бы газету не только себе, но и всем своим друзьям на лесопилке, а может быть, и кому-нибудь из дворовых. Это же так важно, чтобы все знали, кто такой царь и почему он не хочет добра мужикам. Пока ведь люди и в старых имениях пана Жердецкого, и в новом думают, что царь добрый, а злые только паны и их прихлебатели да разные начальники. А в газете ясно сказано, что царь, его сенат и помещики — одним миром мазаны. И надеяться на царя бесполезно.

Рассказал Язэп о своем желании леснику. Савелий подтвердил, что «Мужицкую правду» любой мужик охотно почитает или послушает, не только дядька Егор. Вот только как ее переслать?

— Я сбегаю к нему,— неожиданно заявил Язэп.— Это ведь не так далеко.

Савелий поморщился.

— Нельзя тебе, Язэп, там даже и показываться...

— А зачем мне показываться кому не надо! Переночую у дядьки Егора и утречком, чуть свет,— обратно. Я все обдумал.

— Так-то оно так...— проговорил Савелий.— Но ведь может быть и не так.

— А как же?

— Ну, нарвешься ненароком на своего Дракулу, если он жив, или на другого панского холуя. Схватят тебя, грешного, и спросят на конюшне под плетьми: «Где был все это время?» Ведь не по лесу бродил. Что скажешь? А еще, чего доброго, газету найдут. Нам всем тогда — верный острог...

Предостережение Савелия немного охладило Язэпа.

Но он все же заупрямился:

— О вас я не скажу, даже если меня на куски резать будут...

Лесник все-таки попросил Язэпа дождаться Кастуся или Феликса.

— Как они скажут, так и сделаешь.

Язэп ждал день за днем, но ни Кастусь, ни Феликс не появлялись.

Вот тут-то и пришла ему в голову новая мысль: Кастусь ведь только обрадуется, когда узнает, что он, Язэп, отнес своему знакомому «Мужицкую правду»! Не они ли с Кастусем две ночи развозили ее по селам и городам? И разве не радовался Кастусь, делая это? Радовался, да еще как!

Эта мысль так захватила Язэпа, что у него уже не было сил отступиться от нее. Кастусь вернется, а он и расскажет ему, где был... И чем больше он думал об этом, тем становился смелее. Теперь, после того как он съездил в Гродно и сам, один, вернулся назад, никакая дорога его не страшила. Тем более, что, по словам Савелия, дорога на Неман от его хаты совсем прямая и идет почти все время полями, а лес остается в стороне.

Собраться в дорогу Язэпу было недолго. Забросил за плечи посконную сумку с краюхой хлеба, взял палку — вот и все. «Спросит кто-нибудь, откуда иду и куда,— подумал Язэп,— скажу: нищий...»

Когда Савелия не было дома, Язэп запер его хату, ключ засунул под крыльцо и отправился в путь.

XIV

Боясь прийти слишком поздно, Язэп больше бежал, чем шел. Сбавлял шаг только тогда, когда попадался встречный путник или какое-нибудь жилище. Тут уж бе-

жать нельзя: сразу бросишься в глаза. А когда человек идет спокойно, никто о нем и не думает. Иди себе на здоровье куда хочешь.

Раза три или четыре спрашивал Язэп у встречных дорогу на Неман. Ему охотно отвечали. Дорога и в самом деле была прямая, как говорил Савелий. Пересекая время от времени мелкие кустарники, она сразу же выходила на зеленые поля. Деревни и хутора обходил Язэп полевыми стежками, чтобы лишний глаз не видел его в местах, близких к имению пана Жердецкого.

Дорога была дальняя, но казалась Язэпу не такой уж трудной, наверно, потому, что ему очень хотелось поскорее увидеться с дядькой Егором.

Во время полуденного солнцепека Язэп передохнул с часок, пристроившись в тени придорожного кустарника, а к вечеру очутился уже неподалеку от знакомого каменистого холма, того самого, где пахал он в день стычки с Дракулой... Он сразу узнал этот холм. На нем повсюду зеленели дружные всходы гречихи. Никаких огрехов, как ни присматривался Язэп, на всем клину видно не было: все забороновалось и загладилось. И надо же было этому проклятому Дракуле придраться!

Язэп подождал в лесу, пока спустились сумерки, и пошел теперь уже хорошо знакомой дорогою прямо в усадьбу. Он хотел прийти туда уже в такое время, когда двор после ужина пустеет, а сторожа только еще собираются выходить на свои места.

Дядька Егор, как человек семейный, жил в отдельной пристройке к людской [1]. Людская стояла в дальнем углу двора, рядом с конюшнями и хлевами, и Язэп подошел к ней никем не замеченный.

Света в пристройке не было, так же как во всей людской: летом крестьяне вставали на рассвете и ложились с заходом солнца.

Язэп легонько постучал в окно. Спустя минуту вышла из избушки жена Егора, Марьяна.

— Кто там? — спросила она, вглядываясь в густой вечерний сумрак.

— Это я,— негромко отозвался Язэп.

— Язэпка!

— Тише, тетя... Можно к вам?

---

[1] Людска́я — дом, где жили дворовые люди.

— Заходи, сынок, заходи! — зашептала Марьяна.

Язэп вошел и в нерешительности остановился перед дверью маленькой и тесной комнатушки, не зная, куда ступить, чтобы на что-нибудь не наткнуться.

Марьяна бросилась к печи, чтобы зажечь лучину. Но Язэп попросил ее не делать этого.

— Ты ведь, наверно, голодный, деточка! Как же я тебя накормлю-то в потемках?

— Дайте, тетя Марьяна, кусочек хлебца, если есть,— попросил Язэп.

— Как же один хлеб-то? У меня и свекольничек остался. С заправкою. Некому у нас теперь, соколик ты мой, некому есть-то...

— Как некому? А дядька Егор?

— В остроге он, сынок...

Марьяна всхлипнула. У Язэпа гулко забилось сердце.

— За что же, тетя? — упавшим голосом спросил он.

— Ох, ты и не знаешь, что у нас теперь делается... Где ж ты пропадал все это время? Тебя искали и ищут...

Марьяна посадила Язэпа на маленькую скамеечку, стоявшую возле такого же маленького столика. В темноте отыскала свекольник.

Язэп ел, а Марьяна рассказывала ему, что делается в усадьбе. Из ее рассказа Язэп узнал, что Дракула остался жив. Но все еще лежит в местечковой больнице. Дядьку Егора посадили в тюрьму только за то, что он хотел людям добра. Отговаривал их подписывать уставную грамоту, пока помещик не вернет им отрезки [1]. Пан Жердецкий не согласился. Начался бунт. У дядьки Егора, так же как у других дворовых людей, надела никогда не было. Но он не мог терпеть несправедливости. За это и посадили его в тюрьму. И вот по всем окрестным селам стоят теперь солдаты, которых прислали утихомиривать мужиков.

Такие невеселые новости услышал Язэп от Марьяны.

О себе он рассказывал очень скупо: нанялся, мол, работает у хороших людей. Где живут эти хорошие люди, кто они,— об этом Марьяна не допытывалась. Сказала только:

— Вот и хорошо, сынок. Только дома не вздумай

---

[1] Перед реформой 1861 года помещики старались захватить себе как можно больше земли из крестьянских наделов. Эти отобранные у крестьян земли и назывались отрезками.

показываться. Не дай бог! — Потом добавила: — А дворовые-то все жалеют тебя, думают: пропал парень...

Язэпа потянуло ко сну.

Марьяна постлала ему постель на лавке:

— Ложись, сынок.

— Нет, мне уходить надо.

— Не на ночь же глядя. Когда тебя разбудить?

— На рассвете. Не проспим?

— Я — нет. Смело ложись.

Язэп лег и тут же заснул.

XV

Савелий не находил себе места: Язэп не вернулся ни на второй день, ни на третий...

Что только не приходило ему в голову. Видать, попал Язэп в большую беду. Не иначе — схватили его жандармы. И кто теперь может поручиться, что он не расскажет, где был и что делал в последние дни...

Больше всего беспокоила лесника типография. Савелий ведь знал, как нелегко было Кастусю и его друзьям оборудовать ее. Да и сам убедился, как была она нужна.

Типографию надо вывезти в надежное место. Это было первое, что подсказал Савелию его трезвый крестьянский разум. Но куда именно? Поехать посоветоваться к Феликсу? На это нет времени. Пока он будет разъезжать, в его хату может нагрянуть полиция.

Оставалось одно: спрятать типографию где-нибудь рядом.

Так он и сделал: завернул печатный станок в рядно, отвез в чащу и хорошенько замаскировал валежником. Шрифт и прочие типографские принадлежности уложил на дно бочки и забросал всяким тряпьем.

И сразу на душе стало веселее. Ехать к Феликсу теперь было уже не нужно. Не попробовать ли лучше самому поискать Язэпа?

И Савелий поехал в имение пана Жердецкого. Язэп ведь, если верить ему, пошел к какому-то дядьке Егору — дворовому этого пана.

Дорогой Савелий все думал, что же он скажет этому самому Егору, как объяснит свой приезд. И ничего под-

ходящего придумать не мог. Жалел, что он не узнал у Язэпа более подробно, кто такой дядька Егор, чем он занимается и вообще чем дышит. Тогда разговаривать было бы легче.

Приехал Савелий в усадьбу уже под вечер. Остановился рядом с хлевами, будто бы так просто, передохнуть. Дал сена Стрекачу и принялся разглядывать двор, весь зеленый от густой травы. Где же тут Егора искать? Хотя бы фамилию его знать.

Вскоре к нему подошел седой как лунь старик. Невысокий, в белой посконной рубахе и в таких же брюках. Босой.

— Откуда, человече? — спросил он лесника, посасывая самодельную трубку.

— Издалека, дедусь,— отвечал Савелий.— Коняге очухаться надобно.

— Да,— согласился дед.— И конь без передышки жить не может.

Савелий воспользовался случаем и спросил у старика, не живет ли у них немолодой дворовый Егор.

— А что? Знакомый твой? — прищурился дед.

— Да так... Вроде бы...

— Есть у нас один такой немолодой, как ты говоришь, Егор. Да вот дома его нонче нету.

— Где же он?

Дед вытащил трубку изо рта и махнул ею куда-то в сторону:

— В остроге...

— Вот оно что! — воскликнул Савелий.— За что же его?

Старик охотно рассказал, за что попал в тюрьму дворовый Егор.

— Такой злой у нас пан! Свет такого, поди, не видал. На моем веку он третий в Дроздах. И самый худший. Царь людям волю дал. А он ни на грош от своего не отступается.

Видно было, что старик не прочь побалакать с незнакомым путником. Но Савелий его перебил:

— А что, дядька Егор одинокий был?

— Нет. Жена есть.

— А она где?

— Да вот рядом с людскою их хатка. Марьяна дома, кажись.

Савелий поблагодарил разговорчивого деда и пошел к пристройке.

Марьяна действительно была дома — только что вернулась с поля. Теперь, когда едва ли не все мужики уж сколько времени бунтовали и не выходили на барщину, работы дворовым людям прибавилось. И они вынуждены были делать все, как бы ни было им тяжело. Иначе пан перестал бы кормить их. Ведь ни у кого из дворовых не было ни своей усадьбы, ни даже какого-нибудь захудалого огородишка.

Марьяна поверила, что Савелий знает ее мужа, и откровенно рассказала ему о своей беде. Слово за слово, и решился лесник спросить о Язэпе: не был ли он здесь третьего дня.

— А он небось батрачит у тебя?—спросила Марьяна.

— Да. Недавно...

— Вот, вот, он и говорил, что нашел хорошего хозяина. И впрямь добрый ты. Иначе б не поехал батрака своего искать.

И Марьяна рассказала, что попал Язэп в беду. По дороге из имения нарвался на самого пана Жердецкого. Пан ехал на паре коней из Большой Берестовицы. Он сам не заметил Язэпа, но кучер Адам сказал: «Глядите, пан, наш разбойник топает». Тут пан и закричал: «Лови его, лови!» Адам остановил коней, спрыгнул на землю и схватил Язэпа. Об этом он потом рассказывал дворовым, а скупой пан не пожалел ему за это целого рубля на водку.

— И вот теперь наш бедняга Язэп тоже в остроге,— закончила Марьяна свой печальный рассказ.— И еще, говорят, нашли у него какую-то страшную бумагу. Вроде бы в ней что-то недозволенное про самого царя написано. Откуда у него такая бумага? Он ведь и читать-то не умеет.

— В каком же он остроге? — спросил Савелий.— Не слышали? Может, в Мостах или в Берестовицах?

— Нет, его в самый Волковыск пан отвез. Это мой в Мостах.

Савелий побледнел.

Торопливо распрощавшись с Марьяной, запряг он коня и поехал в Большую Берестовицу, к Феликсу. «Если его не окажется дома,— думал Савелий,— придется ехать в Соколку».

У Феликса, к которому лесник приехал только утром, оказался Кастусь.

— Ну и молодчина! — обрадовался он Савелию.— Ты, брат, будто бы знал, что я к тебе собираюсь, вот за мною и заехал. Сюда я прикатил на почтовом дилижансе. Но ведь в твой медвежий угол дилижансы пока не ходят.

— Давай похлопочем перед почтово-дорожным начальством,— подхватил Феликс,— пускай направит один или два дилижанса к нашему другу. Что им стоит! Тогда мы сможем туда ездить не только газету выпускать, но и боровики собирать.

Но Савелию было не до шуток. Он стоял недвижимо, бледный и сумрачный.

— Ты что, заболел? — насторожился Кастусь.— Экий сегодня эдакий...

— Не спал ночь,— проговорил Савелий, не зная, с чего начать.

— Уж не влюбился ли?

Лесник безнадежно махнул рукой:

— Пропал Язэп...

Кастусь нахмурился:

— Когда?

— Три дня назад...

— Заблудился, наверно, в лесу,— сказал Феликс.— Ты посылал его куда-нибудь?

— Нет... Он сам ушел. В Дрозды...

— Зачем? — встрепенулся Кастусь.— Говори же!

Савелий рассказал.

— Жаль парня,— вздохнул Кастусь.— Вот беда... Как же помочь ему?.. Подумаем. А пока надо типографию спасать.

— О типографии я уже позаботился,— сказал лесник.— Спрятал.

— Это хорошо. Очень хорошо,— похвалил его Кастусь.— Теперь ее срочно надо куда-то перебросить. Я уже написал новый текст и договорился с одним наборщиком из Гродно.

— Без Валерия нам тут не обойтись,— сказал Феликс.— Необходимо найти новое надежное место. В лесу.

— Верно,— согласился с ним Кастусь.— В городе нам располагаться небезопасно. Дуй, брат Феликс, к Ва-

лерию, а я помчусь в Волковыск. Правда, я не верю, чтобы Язэп нас выдал. Он парень с головой. Собьет ищеек с толку. Да и духом, по-моему, не слаб. Но как говорят, береженого бог бережет. А ты, Савелий, пока пореже заглядывай в свою берлогу.

Кастусь обнял лесника.

— А если уж, брат, не дай бог, попадешься, тогда помни: ничего не знаю, не ведаю. Понял? Доказательств нет, и все тут. Мало кто что наговорит. Во всяком случае, петля тебе не грозит. А в тюрьму посадят — так не на век...

— Я все понимаю,— отвечал Савелий.— Не понимал бы, так не пошел бы с вами одной дорогою.

— Ну вот и хорошо, братец,— улыбнулся Кастусь.— Все мы чем-нибудь рискуем: кто свободой, а кто и головою. Но рискуем не зря. Перед нами великая цель. Она выше нашего риска.

XVI

В Волковыске Кастусь не задержался. Уже на другой день после своего приезда он узнал обо всем, что ему было нужно. Справки о Язэпе навел его хороший знакомый, секретарь мирового посредника и член уездной подпольной организации Томаш Мушинский. Он разговаривал с секретарем уездного суда Ральцевичем — близким своим приятелем. Ральцевич не примыкал к подпольщикам, и поэтому Мушинский скрыл от него, почему он интересуется Язэпом. Просто сказал, что слышал краем уха о каком-то разбойнике и крамольнике, который попал на днях в уездную тюрьму и что будто бы он убил своего тивуна и разбрасывал по дорогам какие-то запрещенные листки...

— Ишь ты,— удивился приятель Мушинского,— как быстро обрастают слухи вымыслами!

— А что? Неправда? — спросил Мушинский.

— Правды только половина, если не меньше. Тивуна он не убил, а только камнем ударил. Это раз. Листков запрещенных не разбрасывал. Это два. Хотя Жердецкий нашел у него один такой листок. Страшный, скажу я тебе. Я читал его. Называется «Мужицкая правда».

— А что в нем?

— Оскорбление императорской особы. Ну, и нашему брату тоже достается. Да как!..

— Так дай хоть посмотреть,— попросил Мушинский.

Ральцевич сделал большие глаза и поднял палец:

— Что ты! Следователь даже мне боялся показывать.

— Интересно, интересно,— охал и ахал Мушинский.— А мы ничего и не знаем. А на разбойника этого можно посмотреть?

— Гм,— иронически усмехнулся Ральцевич.— Разбойник! Какой он разбойник! Самый обыкновенный дворовый парень. Подросток еще. Он, кстати, и грамоты-то не знает.

— Так зачем же ему этот крамольный листок?

— Поднял, говорит, на дороге. Он, видишь ли, после того, как ударил камнем тивуна, сбежал и скитался, нищенствовал. А листки такие, по словам следователя, уже не впервые находят люди.

— И что же вы с этим мальчишкой сделаете? На каторгу загоните?

— Не думаю. Посидит года три как несовершеннолетний.

Этот разговор с секретарем суда и передал Томаш Мушинский Кастусю.

«Жаль парня,— сказал Кастусь.— Но каков молодец! Умеет язык за зубами держать. Хорошо придумал: поднял листок на дороге. Тут никакой следователь не придерется. Сам же он неграмотный, стало быть, и знать не знает, что в том листке. А вот за Дракулу его упекут...»

Вернувшись в Большую Берестовицу, Кастусь рассказал Феликсу все, что слышал. Феликс тоже похвалил Язэпа за находчивость и тоже его пожалел.

— Хорошо еще, что останется он здесь, недалеко от нас,— сказал он.— Может быть, удастся что-нибудь сделать.

— Ты прав,— согласился с другом Кастусь.— Я тоже об этом думаю. Нам, как видно, нужно завести своего человека в самой тюрьме.

Кастусь умолк, задумался. Не желая перебивать его мысли, Феликс вышел из кухни, где жена его готовила угощение для гостя.

Вернулся он с большим блюдом, на котором красиво была разложена нарезанная ветчина.

— Ну, а что в Соколке? — спросил Кастусь.— Ты там был?

— Был,— ответил Феликс, ставя тарелку на стол.— Валерий тоже не верит, что Язэп (парень понравился ему с первого взгляда) выдал нас. Но все же советует перевезти типографию в другое место.

— В Соколку?

— Нет. У него есть на примете место неподалеку от нее. Такой же глухой угол, как у Савелия. Тоже усадьба лесника. Ох, этот Валерий! Он ведь для лесников и лесничих, как священник для прихожан.

— А волостные писари? — улыбнулся Кастусь.— Молодые — все до единого — его воспитанники. Так что, брат Феликс, без Валерия мы куковали бы. Да будет так, как он советует. И пускай жандармы Галлера и Лялякова в поисках нашей типографии трясут все города и местечки губернии. А их пусть трясет лихорадка. Все равно ничего не найдут.

— Валерий сам заберет типографию. Просил, чтобы ты только вызвал наборщика и сам ехал в Соколку с текстом очередного номера.

В тот же день с почтовым дилижансом Кастусь послал Эразму Заблоцкому письмо, в котором, помимо приветствий и прочего, были и такие безобидные слова:

КНИГУ, О КОТОРОЙ МЫ С ТОБОЙ ГОВОРИЛИ, ВЫШЛИ (БЕЗ ЗАДЕРЖКИ) НЕ ФЕЛИКСУ, А ВАЛЕРИЮ.

XVII

Большую часть второго номера своей газеты Кастусь также отвез Заблоцкому: почтовые связи Эразма с волостями и уездами были самыми надежными. Почту свою Заблоцкий сам развозил и разносил ближайшим от города адресатам, а те передавали ее дальше. Так что примерно за неделю могла она попасть в самые дальние уголки губернии.

В Гродно Кастусь узнал о смерти Владислава Сырокомли. Потрясенный печальным известием, он тут же

выехал в Вильно, чтобы отдать покойному последний гражданский долг.

Владислав Сырокомля был для Кастуся не только хорошим знакомым и старшим товарищем. Он был для него примером человека, который не продавал свой талант угнетателям простого народа — и польского, и белорусского, среди которого прожил всю свою жизнь.

Направляясь в Вильно, Кастусь надеялся попутно услышать от виленских друзей и свежие новости, особенно о ситуации в Варшаве после ареста Ярослава Домбровского. Не ослабит ли этот арест революционную Варшаву? Не используют ли его белые или умеренные, чтобы повернуть кормило восстания в другую сторону? Из всех членов Центрального национального комитета, по мнению Кастуся, один только Ярослав четко и ясно понимал свои задачи и твердо шагал прямой дорогою вперед.

Особенно беспокоило Кастуся, как отнесется теперь Варшава к Литве и Беларуси. Даже Ярослав не дал пока полного ответа на этот вопрос. Удастся ли добиться ответа от Варшавы сейчас, после потери Домбровского?

Ничего нового в Вильно Кастусь не услышал. Только лишний раз поспорил с Нестором Дюлераном. Педантичный службист как в своем ведомстве, так и в Комитете, Нестор ни на шаг не отступал от предписаний Варшавы. Рано или поздно придется послать в Варшаву кого-нибудь из членов Комитета, чтобы наконец добиться своего.

Звеждовский тоже разговаривал с Кастусем с большей, чем можно было ожидать, осторожностью. Из его слов понял Кастусь, что после ареста Домбровского жандармы царского наместника Польши великого князя Константина, видимо, напали и на его след. Удастся ли ему уйти от засады? Не начинается ли разгром штабов? Кто знает, какие сведения успели собрать агенты Константина и Назимова и не заслали ли они своих людей и в Комитет, и в воеводские организации...

Все эти вопросы очень беспокоили и пугали Звеждовского. Он растерялся и, по существу, Литовским комитетом руководил теперь не он, а Дюлеран.

Кастуся же, однако, все это не охладило. Наоборот. Опасность лишь укрепила его упорство и отвагу. Он еще раз убедился, что создавать повстанческую организацию

нужно не из одних командиров, которых жандармы могут в любое время вывести из строя, а прежде всего из рядовых ее членов — крестьян и мастеровых. Их всех не пересажаешь, даже если захочешь: просто-напросто тюрем не хватит.

Кастусю хотелось поскорее вернуться в свою Гродненскую губернию и снова надеть крестьянский армяк, обуть крестьянские лапти и ударить во все колокола, созывая народ на восстание.

Из Вильно ехал он на почтовых бричках. Хотелось ему быть ближе к людям, послушать, что они говорят, чем живут. Во время остановок на почтовых станциях он старался не обходить стороною рынки, наведывался в корчму, а то и просто заходил в хаты или заводил беседу с каким-нибудь встречным мужиком. Люди рассказывали о разном. Но о чем бы они ни говорили, все кончалось одним: везде и всюду крестьяне ждут воли. Не той, которую дал им царский манифест, а настоящей. О ней говорили, как о чем-то совсем близком: стоит только свершиться какому-то чуду, и воля явится сама во всей своей красе. Кто же сотворит это чудо? Может быть, бог, а может быть, царь, который все еще не знает, что помещики подменили его манифест... Вот кончится весною срок, пройдет два года с того дня, когда был манифест, и царь издаст новый, но на этот раз уже такой, который никому подменить не удастся. Это и будет то чудо, которого с такой надеждой ждут все крепостные крестьяне. В новом манифесте, конечно же, не будет и речи об уставных грамотах или о выкупе земли. Только бы дождаться его, только бы не поддаться помещичьему нажиму. Потому что, говорят, кто подпишет уставную грамоту, тому уже царский манифест не поможет: будет он отрабатывать барщину еще семь лет, а потом десятилетиями платить казне или помещику за свою земельку-кормилицу.

Такие разговоры слышал Кастусь и раньше. Но они все настойчивее напоминали ему о самом главном: терпеливо рассказывать людям правду о царе, правду, которой они, к великому сожалению, все еще не знают. И он все время обдумывал очередной номер «Мужицкой правды». Во втором номере решил он повести речь о помещиках: откуда они пошли, и вообще почему одни люди богатые, а другие — не только бедные, но и бесправ-

ные, как скот. Тем паче, что вся земля-то народная! Не помещичья, не царская, а народная. Она принадлежит тем, кто на ней рождается, живет, трудится и умирает. Потому-то и не должен никто никому за нее ни отрабатывать, ни платить оброк. Вот если бы сговорились между собою мужики да перестали бы работать на разных дармоедов! Трудно этого добиться. Но добиться можно. И нужно, необходимо.

Проезжая неподалеку от родных мест, Кастусь внезапно ощутил острое желание побывать там. Якушевка, отчая усадьба!.. Давно он там не был... С мачехой, правда, не ладил. А отца любил. И так же горячо любил братьев своих и сестер. И среди них — больше всех — старшего брата Виктора, который сделал ему в жизни добра, пожалуй, не меньше, чем отец: ведь именно Виктор вдохновил его на поездку в Москву и в Петербург, именно он помогал ему, где только мог, и умным словом, и дорогой для них обоих копейкой, заработанной бессонными ночами за переписку разных бумаг для публичной библиотеки. Он же, Виктор, вывел Кастуся и на тот путь, которым идет он и сейчас и которому верен останется до последнего дня своей жизни...

Из Свислочи шел Кастусь пешком. Был тихий летний вечер. Песчаная полевая дорога была хорошо знакома ему с детских лет. Он помнил здесь не только каждый придорожный кустик, но, пожалуй, и каждый камень. Ему шел двенадцатый год, когда переехал сюда после смерти матери его отец. Долго тосковал Кастусь по родному селу Мостовляны. Но потом привык к новому месту. И теперь казалось ему, что Мостовляны — это только сладкий сон далекого детства.

По обеим сторонам дороги широкими клиньями золотилась яровая пшеница. Кое-где мелькали белые косынки жней. У Кастуся защемило сердце. По-прежнему гнут спину его землячки, работая на панов Пусловского, Пейциха, Битнера, Лясковского точно так же, как и до царского манифеста. Что же изменилось? И что изменится, когда останутся позади и последние годы временного крепостничества? Не помещики же и не их дети возьмут на себя тяжкий крестьянский труд. Как было, так будет: за копейки, за крохи будут изнемогать под палящим солнцем все те же Ганны и Марины.

Чем ближе подходил Кастусь к своему хутору, тем от-

четливее становились видны леса, раньше лишь темневшие на горизонте. В незапамятные времена подступали леса эти к самой реке Свислочь. Но когда здесь, на правом берегу, построил свои жилища человек, понемногу начали они отступать.

На невысоком холме стоял и одинокий хутор Калиновских.

Просторный деревянный дом, крытый гонтом[1], окружен был густым старым садом, в котором, кроме плодовых деревьев, росло множество разных ягодных кустов от малины до шиповника. Против дома, за усадьбою, размещалась ткацкая мастерская отца, а рядом с нею, с северной стороны, почти каждый день хлопала крыльями высокая ветряная мельница. На ней молол зерно не один только хозяин, но и соседи его — ближние и дальние.

Из всех хуторских построек больше всего любил Кастусь этот ветряк. Тут всегда можно было встретить каких-нибудь людей, услышать свежие новости. Он любил забраться по боковой лестнице на самую верхушку и сидеть там часами, с умилением вглядываясь в удивительные картины живописной округи. Видны были отсюда и ближайшие села, и местечко Свислочь, где в ясные дни четко выделялось массивное здание знакомой ему прогимназии в обрамлении столетних лип и тополей.

У самого дома встретил Кастуся старый серый пес с длинными, обвисшими ушами по кличке Галас. Галас бросился на него с хриплым лаем.

Кастусь остановился, проговорил дружелюбно:

— Ах ты такой-сякой, своих не узнаешь!

Галас, видимо, что-то припомнил и виновато заскулил и завилял хвостом.

Кастусь подошел к нему и погладил его:

— Ну, добрый день или добрый вечер, Галас! Как живешь, старина?

Пес лизнул Кастусю руку и, уже радостно ворча, отошел в сторону.

---

[1] Гонт — дранки, дощечки, которыми кроют крыши, вкладывая сточенный конец одной дранки в паз другой.

XVIII

Не успел Кастусь отворить калитку, как увидел перед собою старшего брата, Виктора. Братья крепко обнялись.

— Вот так неожиданность! — радовался Кастусь.— Не думал, не гадал...

— А для меня еще бо́льшая,— отвечал Виктор.— Отец говорил, ты дома и не появляешься и где живешь — неизвестно.

— У меня чутье. Не такое, как у Галаса. Он меня пускать не хотел.

Виктор подхватил саквояж Кастуся, и братья подошли к крыльцу, где через минуту уже встречала блудного сына вся семья.

После горячих приветствий и поцелуев Виктор отвел Кастуся в свою комнату, где он сразу же переоделся в халат и домашние туфли и проговорил, блаженно улыбаясь:

— До чего же хорошо!..

Вскоре сестра Казимира позвала братьев ужинать.

— Мы тоже словно чувствовали, что ты приедешь,— сказала она Кастусю.

— А что?

— Наварили твоих любимых клецок с молоком.

— Ну, тогда я бегом! Давненько не ел такого деликатеса!

— Сам виноват. Редко дома бываешь.

Ужинали в большой столовой. За стол сели в том порядке, который заведен был давно: Виктор и Кастусь заняли свои старые места рядом с отцом. Все радовались такому полному сбору семьи. Даже мачеха, невысокая худая женщина со смуглым лицом, как показалось Кастусю, не смотрела сегодня хмуро на пасынков.

Отец, Семен Степанович, широкоплечий старик с седыми висками и усами, сидел на самом почетном месте, под образом бога-отца, и не сводил глаз со своего любимого сына Кастуся, и все казалось ему, что сын стал каким-то странным и что в лице его появилось нечто загадочное и даже таинственное. Но Кастусь, в отличие от болезненного Виктора, был румяный, загорелый, сильный, и это не могло не радовать отца. Таким помнил себя в молодые годы и сам Семен Степанович. Только был

он малость выше ростом, такой, пожалуй, как Виктор. Кастусь же унаследовал кое-что и от матери: задумчивый взгляд умных темно-серых глаз, крупные черты лица. Как счастлива была бы сейчас покойница Вероника, глядя на своего Кастуся! Она ведь умерла, когда был он совсем еще маленьким. Не судьба ей была самой растить своих детей. А без нее, при мачехе, недолго прожили и младшие дети.

На ужин сперва подали верещаку[1]. Проголодавшись за дорогу, Кастусь не мог оторваться от нее. Казимира все подкладывала ему, и он не возражал. Но когда дошло до клецок, пожалел: для них, пожалуй, и не осталось места.

Ели все молча, все с детства помнили: «Когда я ем, я глух и нем». И несмотря на то, что очень хотелось отцу поскорее расспросить Кастуся, нашел ли он уже постоянную службу, которую ищет второй год, где живет и как живет, не женился ли, не осчастливил ли его, старика, внуком или внучкой, Семен Степанович молчал, не смея нарушить им же некогда установленный порядок.

Не удалось ему поговорить с сыном и после ужина: завладел Кастусем Виктор. Братья ушли в сад.

Никаких секретов друг от друга у братьев не было. Но с того времени, как покинул Кастусь Петербург, знали они друг о друге только по рассказам друзей. Даже переписки не вели: в неспокойном Северо-Западном крае могла она попасть в руки тех, кого следовало остерегаться, как самой страшной болезни.

Вот почему накопилось у братьев столько вопросов, что для ответа на них не хватило бы и ночи.

Виктор признался брату, что здоровье его совсем ухудшилось и он оставил столицу, чтобы подышать здесь, в лесной Якушевке, свежим воздухом. На это сейчас у него вся надежда, потому что ехать на юг или на кумыс в Оренбургскую губернию, как советуют врачи, он не может: нужны для этого большие деньги, а он, так же как раньше, зарабатывает только на хлеб насущный.

О революционном настроении в столице Виктор сказал:

— Боюсь, что мы там намного отстали от вас.

— К сожалению, это так,— вздохнул Кастусь.—

[1] Верещака — яичница с салом.

Хотя, собственно говоря, и нам-то похвастать особенно нечем. Мы тоже еще больше говорим, чем делаем.

— О чем же вы хоть говорите?

Кастусь рассказал о своих последних встречах в Вильно, о «Мужицкой правде».

Виктора очень заинтересовала газета, и он спросил, нет ли ее у Кастуся с собой.

— А как же! — ответил Кастусь.— Я с ней никогда не расстаюсь.

Виктору хотелось почитать газету брата, но стало уже совсем темно, и они вернулись в дом. Там Виктор зажег свечу, а Кастусь достал из своего саквояжа два номера газеты и протянул брату:

— Только не очень-то придирайся. Мы ведь не такие великие грамотеи, как ты.

Виктор погрузился в чтение.

— Хорошо! — воскликнул он наконец.— Именно то, что сейчас нужнее всего: правда о царе и о царизме, то есть то, что может пробудить в мужике гражданское сознание. Я очень и очень рад за тебя, Кастусь. Ты нашел в жизни твердую почву и стоишь на ней крепко. У меня же такой почвы, к сожалению, нет...

— Не скромничай, Виктор,— улыбнулся Кастусь.— Здесь ведь, братец, и твои мысли!

— Но ведь не я написал и напечатал вот это! А здесь больше добра людям, чем сделал я за всю свою жизнь. Я искренно говорю и, по праву старшего, благословляю тебя на это благородное дело.

Виктор разволновался и закашлялся. Кашлял он долго и тяжко. Кастусь принес ему из кухни теплой воды с содой. И когда Виктору стало немного легче, он снова вернулся к «Мужицкой правде».

— Ты только не обижайся, Кастусь, но я все же хочу тебе сказать об одной неточности в номере втором.

— Что ты, что ты, Виктор! — замахал руками Кастусь.— Могу ли я на тебя обижаться...

— Ты не совсем правильно объясняешь, откуда пошли помещики и барщина...

— Однако так объясняют и другие.

— Знаю. Но, видишь ли, такое объяснение, строго говоря, нелогично.

— В чем же?

— Ты пишешь, что когда-то польско-литовские кня-

зья и короли раздавали земли своим служивым людям. А те, кто не служили князьям, вынуждены были служить королевским дружинникам или шляхте.

— Да. Так пишут многие историки...— заметил Кастусь.

— Историков надо уметь читать. Уже давно королям и царям служат все — и шляхта, и мужики. Почему же тогда Радзивиллы владеют десятками имений, а я, ты и все такие, как мы,— ни одним? В чем тут дело?

— Так ведь у Радзивиллов имения наследственные. Это их собственность.

— Хорошо. Допустим. Но ведь великий литовский князь или польский король не подарили далекому предку Радзивиллов десятки имений за его службу. Откуда же они сейчас у его наследников? Не бог ведь послал...

— Гм...— задумался Кастусь.— Конечно, не бог.

— Я и не думаю тебя упрекать,— сказал Виктор.— Мне и самому нелегко разобраться, как все это было. По-видимому, основное здесь — именно собственность на землю, как ты сказал. Землю можно купить и продать. Тот, кто богат, может купить землю у того, кто ее продает. Но основой собственности стал бесплатный труд крепостных. Без него ни один помещик не проживет и не разбогатеет, а значит, не сможет покупать новые имения. Так что если хорошенько подумать, то все помещичьи земли и богатства по праву принадлежат крепостным крестьянам, и никому другому.

— Вот с этим я согласен! — подхватил Кастусь.— Именно сами земледельцы-мужики должны стать хозяевами земли, а не дармоеды-помещики!

— Ну, а ежели согласен,— улыбнулся Виктор,— то и изволь об этом почаще напоминать своим читателям. Это очень важно.

Кастусь слушал брата как зачарованный. Он любил историю, много читал. Но о том, что говорил Виктор, в книгах либо умалчивалось, либо толковалось совсем поиному.

— Но ведь Кавелин[1] говорил нам иначе...— сказал Кастусь.

---

[1] Кавелин К. Д.— историк и юрист, один из учителей Кастуся Калиновского.

— Что там Кавелин! Сергей Михайлович Соловьев — большой авторитет, а тоже... говоря о крепостном праве, сочувствует не мужику, а дворянам-землевладельцам. Видите ли, дворяне были закрепощены государственной службой: они, мол, и войско содержали, и службу несли, и Россию хлебом кормили...

— Вот тебе на! А крепостные что же делали?

— Ну, выходит, помогали своим господам быть рабами государства. Так толкуют сторонники рабовладельчества. У них все нарочито запутано. И, читая их, поди пойми, почему одни пануют, а другие горюют, и имеет ли право князь Радзивилл владеть десятками имений, в то время как многие люди гибнут без клочка земли. Несправедливости видны ведь на каждом шагу. Возьми вот хотя бы земли церковные и монастырские. Рыцарей среди ксендзов, попов и монахов я что-то не знаю. Но зато хорошо знаю, как попали к ним целые имения.

— У бога вымолили,— усмехнулся Кастусь.

— Бывало и такое. Пугали феодалов божьей карой, и те в страхе божием жертвовали свои имения церкви. И опять-таки с теми же крепостными мужиками. За это попы и ксендзы охотно снимали с них мирские грехи и обещали царство небесное. А надо сказать, грешили феодалы предостаточно. Скажем, польские паны продавались за деньги кому угодно. Любой магнат мог запросто купить крикунов из сейма, чтобы провести нужный ему закон. Короли большой власти не имели. И феодалы делали поэтому что хотели: не только чинили суд и расправу над своими крепостными, а часто воевали друг с другом или совершали набеги на соседей с целью грабежа. У них тоже были свои войска и оружие. Известно, например, что в 1764 году богатый князь Чарторыйский напал на город Радзивиллов Несвиж и палил по нему из пушек. Один из Радзивиллов, Януш, которому король Сигизмунд подарил за службу четыре староства[1], во что бы то ни стало захотел получить еще и пятое, некое Дудинское. Но оно было раньше подарено королем князю Ходкевичу. И недолго думая пошел князь Януш на Ходкевича войной. И только королю удалось их помирить.

А что они вытворяли со своими крепостными или да-

---

[1] Староство — королевское имение или несколько имений, переданных в пожизненное пользование феодалу (старосте).

же с теми шляхтичами, которые были беднее их и чем-нибудь не угождали им или — не дай бог! — становились им поперек дороги! Никакой суд не был в состоянии заступиться за такую жертву. Одно спасение было — бросить все и спрятаться за стенами монастыря.

Однажды чуть не пострадал целый город Минск из-за буйства некоего пана Володковича, близкого друга виленского воеводы Радзивилла (Радзивиллов тогда хватало везде). Ворвавшись от скуки в Минский трибунал, он саблей разрубил на куски распятие Христа и ранил высоких судей. На сей раз судьи не простили ему этой выходки и приговорили к смертной казни. Услышал об этом чванливый воевода Радзивилл. Собрал войско и двинулся на Минск. «Сотру этот город с лица земли вместе с судьями!» — бушевал он. Выручило Минск только то, что был воевода очень набожным. Близкие друзья уговорили его лучше позаботиться о душе пана Володковича, приказав минским и виленским костелам вечно молиться за него. Радзивилл внял этому совету и повернул свое войско назад.

Не удивительно, что еще в прошлом веке всем была известна пословица: не хочу быть королем, хочу быть Радзивиллом. С давних пор ходила и такая поговорка: король — в Польше, Радзивилл — в Несвиже. И право же, Несвиж с самого шестнадцатого века — такая же столица Радзивиллов, как Варшава — столица польских королей. В Несвиже Радзивиллы держали не только бесчисленное множество слуг, но и свои войска. «Богатства здесь,— как пишет в своей книге о Несвиже известный тебе Владислав Сырокомля,— были неисчислимые. Без преувеличения можно сказать, что большая половина Литвы и значительная часть Украины, вся Белая Русь приносили сюда дань за свой хлеб, за свои леса, за рыбу, которая в воде, за птиц и пчел, которые в воздухе, и, кто знает, может быть, и за самый воздух. Труд тысяч крестьян, выменянный на золото, наполнял здешние сокровищницы дорогими вещами, здешние погреба — наилучшими винами, и это в свою очередь вызывало восхищение всего мира...» Я неспроста помню это место наизусть: оно ведь передает и суть того, что происходит ныне. Об одном из Радзивиллов французский посол писал своему королю: «Радзивилл — настоящая свинья, но это самый знаменитый польский пан». Вот такие, братец, жи-

вотные и творили на нашей земле суд и расправу над людьми.

Виктор устало откинулся на подушки и умолк.

— Да-а...— проговорил Кастусь,— незавидная история у наших предков.

— Во всяком случае, сложная. Ведь есть в ней вещи, которые я на твоем месте непременно рассказал бы читателям «Мужицкой правды». Ну, хотя бы о жажде наживы и власти над простым народом, охватывающей угнетателей, к которым аппетит приходит во время еды. Это хорошо видно хотя бы из такой истории. Крайчий[1] Цехановецкий задумал жениться на дочери оршанского старосты Лопатинского.

Виктор взял со столика, стоявшего у кровати, кубок с водой и отпил несколько глотков.

— Крайчий. Титул высокий, а, смешно сказать, чем он занимался: резал мясо для королевского стола...

Кастусь рассмеялся:

— Ну и сановник! Мясник!

— Если бы он резал мясо в наших свислочских ятках[2], был бы мясник. А королевский этот мясник был богатый магнат, владел целыми имениями. Так что, как видишь, мясники бывают разные.

— Правду люди говорят: бог не поровну делит,— вставил Кастусь.

— Так вот, этот самый крайчий посватался к дочери оршанского старосты Лопатинского. Лопатинский, конечно, рад бы заиметь такого именитого зятя. Да кто же отказался бы от своей руки при дворе великого князя! И не удивительно, что об этом сватовстве раззвонили повсюду. Дошел слух и до одной старушки нищенки, которая всегда стояла у костела с протянутой рукою.

«Так это ведь мой сыночек родненький женится»,— сказала она соседкам, таким же нищенкам.

«Какой сынок? Ты что, несчастная, мелешь?»

«Мой сыночек... Я раньше никому об этом не сказывала. А теперь скажу. Дитятко мое!»

Дошли эти разговоры до ксендза.

---

[1] Кра́йчий — один из сановников при дворе короля или великого князя.

[2] Ятки — мясные ряды.

«Что за глупости изрекаешь, раба божия? — говорит ей ксендз.— Цехановецкий — магнат, известный во всем княжестве. А ты кто?»

«Но он — мой родной сын»,— с гордостью отвечает нищенка, и глаза ее горят радостью.

«Рехнулась!»

«Нет, пан ксендз, не рехнулась я. Могу хоть на кресте святом присягнуть...»

И она рассказала ксендзу, что когда-то была кухаркой у отца Цехановецкого и одновременно — кормилицей его маленького сына. Первые годы жил малыш, как это водится, у кухарки и воспитывался вместе с ее родным сыном. Мать малыша ездила на балы, и ей было не до сына. Но вот случилось несчастье: умер барич, барский сынок. В таких случаях паны обвиняли не бога, пославшего болезнь, а кормилицу. Бывало, и на виселицу тащили, а то и живьем в землю закапывали. Боясь такой страшной кары, сказала кухарка своим господам, что умер ее собственный сын, а их наследник, слава богу, жив и здоров. Цехановецкие успокоились, и на этом дело кончилось. Так вот и стал кухаркин сын богатым паном. А кухарку, когда она состарилась, выгнали вон. Она больше не была нужна.

Ошеломленный такой новостью, ксендз бросился к старосте Лопатинскому — будущему счастливому тестю сына нищенки.

У старосты дух захватило. Позвал он старуху. А она и ему повторила все слово в слово.

«Несчастная! — закричал разгневанный староста.— Посмотрим, присягнешь ли ты перед моим главным судьей!»

Нищенка присягнула.

Дошла эта весть и до крайчего. И, вспомнив, как часто сокрушались его родители, что сын их совсем на них не похож, понял он, что старуха не лжет. Она, она — его родная мать! Но если об этом узнают, нищим станет и он сам: как незаконный сын покойника Цехановецкого, он потеряет право на наследство. Все его имения перейдут к близким родственникам покойного. И тогда уж не сможет он оставаться ни крайчим, ни зятем оршанского старосты, а превратится в самого обыкновенного холопа.

Растерялся крайчий.

А придя в себя, бросился к матери-нищенке. Ах, как

она была счастлива, что вернулся к ней родной ее сын! Плакала и не могла остановить слезы радости. А сын, стоя перед нею на коленях, просил и умолял, чтобы она не губила его... Он клялся дать ей все, что только она захочет, если отречется она от своих слов. Но отречься от своих слов означало для матери то же самое, что навсегда отречься от своего сына. А она все годы мечтала о нем, видела его во сне, мысленно разговаривала с ним, радовалась ему. И все же, когда крайчий нарисовал незавидную картину своего будущего, поняла женщина, какую яму копает родному сыну. В ужасе пошла она к старосте и сказала, что говорила неправду.

Но клевета на магната каралась смертною казнью. Сын это знал. Утаить дело было уже невозможно. И он дал старосте согласие судить нищенку за клевету. Только попросил, чтобы не казнили ее до того времени, пока вернется он из Варшавы: поехал туда, надеясь выпросить у короля железную грамоту о помиловании.

— Железная грамота! — воскликнул Кастусь.— Как это звучит!

— Именно так она называлась.

— Почему же не каменная или деревянная?

— По-видимому, чтобы продемонстрировать силу королевской грамоты.

— Эта история достойна пера самого Шекспира! — проговорил Кастусь, захваченный трагедией далекого прошлого.

— Слушай дальше. Уехал крайчий к королю. А его мать приговорили к смерти. Вернулся крайчий с железной грамотой. Помиловал король его мать. Но теперь передумал сам крайчий. Не показал он грамоту судье. Лучше, решил он, если не будет старой матери на свете. Тогда не будет у него никаких забот. Все будут знать, что рехнулась бывшая кухарка и наговорила чепухи, за что ее и казнили. А останется жива, упаси боже, передумает еще и снова начнет его сыном называть. И казнили старуху... Вот какая печальная история,— вздохнул Виктор.

— И печальная, и поучительная! — сказал Кастусь, взволнованный услышанным.— Богатство и знатность губят самое душу человека. Святое святых — родную мать — променял крайчий на имения и высокий чин княжеского мясника. Нет, если человек хочет остаться человеком, рано или поздно должен возвратиться он к

истокам своей истории: сделать и землю, и богатства общими. Тогда все снова станет на свое место.

— Но ведь и тогда может снова появиться какой-нибудь князь, а следом за ним — король или царь...

— И начнется сказка про белого бычка, ты хочешь сказать?

— Да, что-то в этом роде...

— Есть над чем голову поломать,— проговорил Кастусь.— Ты не очень устал? Не пора ли на боковую?

— Вряд ли я теперь засну,— сказал Виктор.— Ты развеял мой сон... Польша готовит восстание, брат. Но помни о русских. Они нам самая близкая родня. Было бы, конечно, лучше, если бы присоединились к нам Петербург и Москва. Только дождемся ли мы этого? Особенно сейчас, после ареста Чернышевского и Серно-Соловьевича...[1] Видишь, как все сложно...

Долго еще разговаривали братья.

Уснули только перед рассветом.

XIX

Генерал-майор Галлер пребывал в глубокой задумчивости. Он был весьма озабочен и обеспокоен тем обстоятельством, что вот уже два номера «Мужицкой правды» ходят по губернии, а их автор, скрывающийся под псевдонимом «Яська из-под Вильно», не только не пойман, но не удалось жандармам Лелякова даже напасть на его след. Порой казалось генералу, что, быть может, кто-нибудь из его служащих и есть этот неуловимый Яська. Галлер так изнервничался, что готов был видеть злоумышленника в каждом.

В первые дни появления «Мужицкой правды» он всерьез надеялся на Лелякова. Но вместо Яськи тот подсовывает ему тех, кто где-нибудь поднял Яськин листок или читал его другим. Конечно, и об этом он как губернатор должен знать. Раньше он приказал бы выпороть такого крамольника, и все. Но сейчас, пожалуй, нужны более строгие меры. И несколько мужиков генерал отдал под суд.

---

[1] Серно-Соловьевич Н. А.— один из известных руководителей тайного революционного общества «Земля и воля».

Мысли генерала были прерваны приходом Лелякова. На болезненно-бледном лице главного губернского жандарма было написано, что снова случилось нечто неприятное.

— Разрешите, ваше превосходительство...

Галлер кивнул крупной головой.

— Только что я получил донесение от пристава второго стана Слонимского уезда Агатина...— Леляков сделал паузу.

— Ну-с, ну-с! — поторопил его генерал.

— Становой сообщает, что в уезде найдены свежие листки «Мужицкой правды». Третий номер.

— Третий? А вы все еще бездействуете! — проворчал Галлер.

— Разрешите продолжать?

— Продолжайте...— Галлер безнадежно махнул рукой.

— Становой выехал на поиски преступников.

— И что же?

— К сожалению, они не найдены. Но...

— Что «но»?

— Но удалось выяснить, кто разбрасывал листки.

— Кто же? Опять какой-нибудь неграмотный Филимон или Харитон?

— Никак нет, ваше превосходительство. На этот раз дворянин Викентий Калиновский.

— Где же он?

— К сожалению, становой его не задержал. Он только осведомился о нем в книге проезжих почтовой станции, где Калиновский нанимал бричку.

— И все?

— Пока все. Но мы найдем его. Я уже отдал приказ по своему ведомству.

Галлер встал, прошелся по кабинету.

— Это действительно что-то новое... — произнес он, остановившись у окна.— Мужицкие листки и... дворянин. Нет ли в этом ошибки? Недоразумения? Как он выглядит?

Леляков достал из папки рапорт станового и прочел вслух:

— «Вышеуказанный пассажир одет был в пальто черного сукна, воротник — из черной овчины, фураж-

ка — штатская. Роста среднего, брюнет, черные длинные усы. Возраст около 35 лет».

— Внешность обычная,— прокомментировал Галлер.— Особых примет никаких.

— Но согласитесь, ваше превосходительство: имея такого рода словесный портрет и зная имя человека, не так-то трудно его отыскать.

— Ну что ж. Дай вам бог! В добрый час, майор. У вас есть еще шанс оправдать доверие.

— Приложу все усилия.

— А листок при вас? Оставьте у меня. Благодарю. Вы свободны.

Леляков ушел, и Галлер принялся читать:

Ребята!

Каждый, кто живет под властью царской, знает, что она грабит нас и душит. Ну, а раз так, то подумайте: можно ли ждать от царя чего-нибудь хорошего для нас или для наших детей?

В кабинет вошел секретарь генерал-губернатора с пакетом.

— Ну, что там еще? — спросил Галлер, ожидая нового удара. Нет, право же, этот Яська может свести его в могилу...

Секретарь подал пакет. Галлер вскрыл его.

— Новый листок?..

Ощутил покалывание в сердце. Но, присмотревшись внимательно, увидел, что это ретивый слонимский становой прислал и ему экземпляр своего рапорта и все тот же номер «Мужицкой правды».

И генерал вздохнул с облегчением: не придется лишний раз волноваться и переживать.

«А вот станового Агатина, который упустил преступника в своем стане, простить нельзя,— подумал он.— Тут необходимы меры крутые и решительные».

XX

Через несколько дней после разговора Галлера с Леляковым на хуторе Якушевка появился адъютант Лелякова капитан Витт.

Из Свислочи привез капитана полицейский стражник на полицейской двуколке.

Приезд непрошеных гостей не на шутку встревожил Семена Степановича.

Переступив порог, рыжий жандармский офицер вместо приветствия бросил:

— Где я могу видеть Виктора Калиновского? Вы его отец?

— Да, капитан, Виктор — мой сын.

— Вот и прекрасно,— обрадовался капитан.— Где он? Позовите его сюда.

— К сожалению, это невозможно, капитан.

— Что — опять куда-то уехал?

— Две недели назад он покинул нас навсегда.

— Как это прикажете понимать?

— Умер, господин капитан. От чахотки.

— Умер? — поднял рыжие брови жандарм.— А вы... А это правда?..

— Можете спросить у соседей.

Убедившись, что старик не сочиняет, капитан Витт немного успокоился.

— Скажите, пожалуйста, господин Калиновский, был ли дома ваш покойный сын в начале октября?

— Последний месяц он был прикован к постели.

— Что за чертовщина! — снова заволновался капитан.— По нашим сведениям, седьмого числа прошлого месяца он нанимал бричку в Ружанах.

— Этого не могло быть. После возвращения из Петербурга он из дому никуда не отлучался.

— Странно. Но у меня на руках донесение. Вот: «Викентий Калиновский, дворянин».

— Викентий — это другой мой сын. Он же — Кастусь. При крещении получил он двойное имя. А в чем, собственно, дело?

— Ага-га! — обрадовался рыжий Витт.— Вон оно что-о! Значит, здесь моя ошибка: я неточно назвал его имя. Прошу прощения-с! Конечно, Викентий. Да-с, да-с... А где же Викентий?

— Этого я не знаю, господин капитан.

— То есть как это не знаете?

Семен Степанович насторожился. Нет, видно, не с добрыми намерениями пожаловал в Якушевку господин капитан. Ах, Кастусь, Кастусь... Если подумать, и в са-

мом-то деле: что он, отец, знает о своем сыне? Где он живет? В какой среде? А ведь надо бы все это знать: на свете сейчас такое творится... В политику Семен Степанович не вмешивался: повседневные хозяйственные заботы поглощали все его время. Но в душе он искренне сочувствовал тем, кто хотел добра своему народу. Наверно, и Кастусь пошел за теми молодыми людьми, о которых обычно громко не говорят, потому что известно, что они выступают против царя и хотят добиться свободы для всех... Эта мысль впервые так отчетливо возникла в голове старика только сейчас, когда он увидел перед собою жандармского офицера. Если бы его сын нужен был Витту по хорошему делу, то зачем же понадобилось ему приезжать сюда самому? Прислал бы за ним курьера...

Сколько ни бился капитан Витт, так ничего и не узнал.

Раздосадованный неудачей, он уехал из хутора, как говорится, не солоно хлебавши. Не поверив старику Калиновскому, он поручил свислочской полиции вести наблюдение за Якушевкой.

Семен Степанович встревожился.

— Не иначе — случилось что-то с нашим Кастусем... Характер у него горячий. Неправды, несправедливости не потерпит. Сколько было у меня хлопот, когда учился он в Свислочи! Бывало, обидит кого-нибудь учитель, а Кастусь уж тут как тут. Бросается защищать. А потом и у него были неприятности, и меня к директору таскали.

Не меньше отца взволновалась Казимира, старшая дочь Семена Степановича от второй жены. Она с самого раннего детства помнила Кастуся только добрым и ласковым, помнила, как заступался он за нее, когда кто-нибудь пытался ее обидеть.

«Ах, Кастусь-Кастусек! — думала она.— Как же теперь помочь тебе? Как отвести от тебя беду, которая, видать, нависла над тобою?»

Даже ей, любимой своей сестре, не сказал он, где живет и чем занимается. Может быть, посвятил он в свои тайны Виктора, но Виктора нет... И тут вспомнила Казимира о друге Кастуся Феликсе Рожанском — графском землемере из Большой Берестовицы. Он не раз бывал у них на хуторе. Может быть, Феликс знает, где искать Кастуся. И есть ведь, наверно, где-нибудь на свете

невеста Кастуся, а может быть, и жена. Об этом он, правда, ни словом не обмолвился, когда был дома. Но ведь не может не быть: Кастусю-то уже скоро двадцать пять! Наверно, Феликс все знает. Поеду к нему!»

И Казимира по секрету сказала отцу о том, что задумала.

— Хорошо, доченька, хорошо! — обрадовался отец.— Езжай к Феликсу. Если Кастусь в чем-нибудь виноват, то, может быть, ему лучше уехать куда-нибудь, хотя бы на время. Так Феликсу и скажи. От моего имени. Если деньги нужны, я дам. Словом, важно, чтобы Кастусь знал, что жандармы ищут его. А что делать, пускай сам решает. Ему видней. Только, доченька, никому об этом не говори. Кто знает, что там у них и как... Понимаешь?

— Понимаю, отец.

— И еще скажи Феликсу о большом нашем горе... Пусть и это передаст Кастусю.

— Хорошо.

— Он так любил Виктора.

В тот же день Казимира уехала в Большую Берестовицу.

XXI

Весть о визите капитана Витта в Якушевку нагнала Кастуся в Гродно: Феликс передал ее через своих знакомых Эразму Заблоцкому. Если бы капитан нагрянул на хутор на два дня раньше, Казимира еще застала бы своего брата у Феликса, где он жил последнее время.

С помощью Эразма и его друзей Кастусь легко превратился в чиновника казенной палаты Константина Макаревича — молодого человека без усов и без бороды и с совершенно новой прическою.

— Вот теперь мы и поиграем с уважаемым господином Виттом в кошки-мышки,— сказал он Эразму, глядя на себя в зеркало.— Пусть побегает за моей тенью.

Кастусь не знал, зачем он вдруг понадобился Витту. Казалось ему, что кто-то выдал его. И среди тех, от кого могли исходить сведения о нем, был и названый брат его Язэп. Что, если жандармы вырвали у него адрес Са-

велия? Тогда беда угрожает не одному Кастусю, но и леснику, и Феликсу. И, кто знает, может быть, Витт побывал уже и у того, и у другого.

У Эразма своих людей в жандармском управлении не было, а друзья из канцелярии губернатора ничего об этом деле не знали: секретный пакет станового пристава Агатина Галлер запер у себя.

— Пожалуй, ехать в Волковыск надо,— сделал для себя вывод Кастусь.— Там-то я уж непременно что-нибудь узнаю.

Эразм согласился с ним.

— Только знакомых чиновников все же лучше сторонись,— посоветовал он.

— Ну, я не думаю, чтобы Леляков или его адъютант Витт так широко объявили о моем розыске. Да, в конце концов, знакомых в их ведомстве у меня и нет.

— И дай бог, как говорится, их не иметь.

— А знаешь, Эразм, у меня идея,— сказал Кастусь.

— Какая?

— Вернуться к Савелию. Уж больно место-то удобное.

— Что ж. Давай. В чем же дело?

— А дело все только в моем Язэпе.

— Не понимаю.

— Пока он в Волковыске, перебираться к Савелию рискованно... Хороший он малый. А все-таки может не выдержать, и тогда...

— Если так, то, прежде чем нам возвращаться к леснику, надо вырвать Язэпа из тюрьмы.

— Ну ты, Эразм, прямо-таки читаешь мои мысли! — воскликнул Кастусь.— Если Язэп остался честным малым, мы должны во что бы то ни стало его освободить. Нам он нужен больше, чем волковыской тюрьме. У нас работы горы и горы. Я не верю, что Варшава долго будет еще выжидать. Горячих голов там хоть отбавляй. А стало быть, восстание начнется не сегодня, так завтра.

— Хотя бы до весны дотянули,— сказал Эразм.— Зимой трудно подняться. Ведь главные наши силы скорее всего будут формироваться в лесах.

— Валерий считает, что лес — наша крепость,— подтвердил Кастусь.— Столкнуться лицом к лицу с регулярными частями небезопасно. Нам придется совершать нападения из засады.

— Ну, в этом деле Валерию и карты в руки.

— К сожалению, одних карт мало. И не тогда ведь собак кормить, когда на охоту идти. Валерий говорит, что самый надежный удар — внезапный. Удастся ли Варшаве его осуществить? Вот что меня беспокоит. Потому что если заранее объявить царю «Иду на вы»[1], он встретит нас и всеми солдатами, и всеми пушками.

...В Волковыске Кастусь пробыл недолго.

Там он узнал, что в последнее время Томаш Мушинский, этот веселый компанейский человек, завел друзей и в уездной тюрьме. Среди них был тюремный фельдшер Станислав Шпаковский — такой же весельчак и любитель анекдотов, как сам Мушинский. На этом они и сошлись. А когда Мушинский попытался заговорить со своим новым другом о житье-бытье, Шпаковский в довершение всего проявил себя еще и вольнодумцем. Тюрьму свою вместе с ее начальником и всеми остальными церберами проклинал и ругал. «Хочешь,— говорил он Мушинскому, подвыпив с ним в трактире,— я подожгу ее?» — «Ну и людей сожжешь,— отвечал Мушинский.— Ты людей сначала освободи, а потом и поджигай свою тюрьму, если уж она тебе не мила».

И вот Станислав Шпаковский, по просьбе Мушинского, как следует порасспросил Язэпа прямо в камере и пришел к твердому убеждению, что Язэп не только никого не выдал, но и что ему даже и вопросов не задавали таких, которые хоть как-то касались подпольной организации. А газета — пустяк: ее находили у многих...

Тихий, скромный и смекалистый Язэп понравился Шпаковскому. Расчувствовавшись, он спросил, не хочет ли Язэп на волю. Язэп ответил, что нет, наверно, в тюрьме ни одного заключенного, который не хотел бы вырваться из нее. Разговаривали они с глазу на глаз, без свидетелей. И Станислав обещал: «Что-нибудь придумаем. Жди».

Кастусь поверил Мушинскому и Шпаковскому. Поверил, скорее всего, потому, что никак не мог себе представить Язэпа в роли предателя. А поверив, сделал вывод, что капитан Витт о Савелии не знает, а поэтому можно возвращаться в усадьбу лесника со всем своим

---

[1] «Иду на вы» («Иду на вас») — так объявлял войну древнерусский князь Святослав.

печатным скарбом и продолжать там печатание «Мужицкой правды». Местность возле Соколки меньше нравилась Кастусю: была она недалеко и от города, и от людной дороги.

Уезжая из Волковыска, Кастусь попросил Мушинского, чтобы он направил Язэпа, если тому удастся бежать из тюрьмы, в Большую Берестовицу: как попасть оттуда в усадьбу Савелия, Язэп знает хорошо.











Часть вторая

ДО ПОСЛЕДНЕГО ВЗДОХА

I

Случилось то, чего боялся Кастусь.

В конце января примчался в Вильно гонец из Варшавы Юзеф Петровский с вестью о том, что восстание в Польше началось...

В тот же день в номере гостиницы, где он остановился, собрались те члены Литовского провинциального комитета, которые жили в Вильно.

Юзеф Петровский попросил их встать и дрожащим от волнения голосом прочел манифест Временного национального правительства Польши.

ПОЛЬСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОВОЗГЛАШАЕТ:

1. С сего дня все крестьяне и другие жители любой веры свободны, как потомственная шляхта.

2. Польское правительство передает помещичьим и государственным крестьянам навечно без выкупа и платежей землю, которой они до сих пор владели, а все законы русского правительства отменяет, ибо эта земля польская, а не русская.

3. Отныне крестьяне, ставшие хозяевами этой земли, должны защищать ее от русского царя.

4. Кутники, батраки, отставные солдаты и все, кто выступит на защиту родины от русского царя, или их семьи получат за это не менее трех моргов земли.

5. Польское правительство возместит расходы тем помещикам, которые понесут убытки, из национальной казны.

6. Если кто-либо не подчинится настоящему манифесту, будь то пан, крестьянин, чиновник или кто-либо другой, он будет за это предан военному суду.

Боже, спаси Польшу!

Дано в Варшаве 22 января 1863 г.

Члены Комитета выслушали манифест с таким же волнением, с каким читал его Юзеф Петровский. Но Варшава начала восстание, так и не посоветовавшись с Вильно, и начала его опять-таки вопреки заверениям Литовского комитета в середине зимы.

Последние два месяца, с тех пор как Звеждовский уехал в Москву и во главе Комитета стал Кастусь Калиновский, Вильно беспрерывно вело переговоры с Варшавой о своих правах и обязанностях в будущем восстании.

Первым с проектом статута о равенстве ездил в Варшаву Эдмунд Верига. Дюлеран не хотел его посылать: незачем, мол, выяснять отношения, которые и без того ясны. Слушай, что тебе скажут, и делай, что велят! И как ни пытался втолковать ему Кастусь, что Беларусь и Литва не могут плестись за Варшавой, как теленок на веревке, и что они сами хозяева своей судьбы — нынешней и грядущей, полномочный комиссар Польского национального комитета не сдавался. Тогда Кастусь решительно попросил Нестора Дюлерана оставить Комитет. И это было для Дюлерана столь неожиданно, что он растерялся и не смог даже возразить. Схватив себя за грудь, он словно онемел и в замешательстве смотрел на других членов Комитета, надеясь на их поддержку. Но они молчали в знак согласия со своим председателем. И тогда Дюлеран выбежал из комнаты, хлопнув дверью. С этого момента он никак не заявлял о себе, видимо

ожидая распоряжений Варшавы. Однако Варшава не торопилась ни мирить его с Комитетом, ни отвечать Комитету на его запросы о равенстве. Верига вернулся с проектом статута, испещренным всякого рода добавлениями и исправлениями. Кастусь не принял их и через некоторое время послал в Варшаву другого гонца, представителя Комитета Болеслава Длусского. Но и ему не удалось добиться ничего определенного. Разве только заверений Варшавы не начинать восстания раньше весны и без согласия Вильно и обещания передать Белосток Литовскому комитету, но при условии, что он подпишет соглашение о том, что вся власть принадлежит Центральному комитету и вопрос о равенстве больше подниматься не будет.

Кастусю стало ясно, что после ареста Ярослава Домбровского идет в Варшаве какое-то брожение. Видимо, красные из Национального комитета, если и не побелели еще совсем, то, во всяком случае, уже меняют цвет. Нет, Ярослав не позволил бы себе такого высокомерия и чванства по отношению к своим литовским и белорусским друзьям. Он меньше всего думал о «великой Польше», которая будет простираться «от моря до моря».

То, что партия белых заняла в Варшаве положение ведущей, Кастусю было известно. В Вильно белые еще в начале осени создали свой постоянный Комитет. Его членами стали графы Виктор Стаженский и Станислав Зиберг-Пляттер, помещики Якуб Гейштор, Антоний Яленский и Александр Оскерко. И только один обедневший дворянин Франтишек Далевский — выходец из большой семьи виленских старожилов. Один из братьев Франтишека — Титус — был хорошим другом Кастуся. Сестра их Аполлония прошлым летом стала женой Зигмунда Сераковского. Кастусь даже ездил к ним на свадьбу в небольшой литовский городок Кейданы. Там во время свадьбы, а точнее, под видом свадьбы происходило тайное собрание руководителей будущего восстания в Литве и на Беларуси. Зигмунд, как будущий военный руководитель восстания, излагал свои планы, выслушивал замечания остальных. Среди гостей Зигмунда и Аполлонии был и Якуб Гейштор — помещик из-под Ковно, старый знакомый Зигмунда и семьи Далевских. Кастусь знал, что он из партии белых. Но ни сам Гейштор, ни его партия пока еще не ставили палок в колеса

красным. Они просто держались в стороне, наблюдая за тем, что делают красные, и ожидая вестей из-за границы о маневрах старых врагов русского царя — Франции и Англии.

Среди гостей запомнился Кастусю Антанас Мацкявичюс — молодой литовский ксендз с горячим сердцем и мечтами о свободе. Кастусь с первого же знакомства близко сошелся и подружился с ним. Они как-то сразу поняли друг друга. Мацкявичюс думал и заботился только о простых людях — литовских крестьянах. Гейштору, который дрожал за свое имение и за имения других помещиков, он просто не давал говорить.

Франтишек все время их мирил. Вернувшись недавно с каторги, он еще колебался, не зная, к какой партии присоединиться. Белые не рвались в бой, хотя революционная волна и подняла их на свой высокий гребень. Они просто-напросто надеялись на бескровную войну, полагая, что, если держать царя в страхе, он сдастся и вернет Польшу полякам. Это и соблазнило ставшего теперь осторожным в своих действиях старшего Далевского. Ему шел уже тридцать седьмой год, и молодые люди из партии красных казались ему несмышлеными детьми. От высокого полета их мыслей и идей он давно уже отказался, изведав горечь разочарования. К сожалению, нынешние романтики-революционеры его не понимают. Даже родные братья и сестры, особенно младший брат Титус, которому нет еще и двадцати двух...

Когда первое ошеломляющее впечатление от манифеста прошло, Кастусь, как председатель Комитета и собрания, обратился к друзьям:

— Граждане члены Комитета! Нам нужно принять сейчас очень важное решение. Но прежде я хотел бы, чтобы уполномоченный посланец Варшавы гражданин Юзеф Петровский объяснил нам, чем вызвано столь срочное объявление восстания.

— Да, все мы этого хотим! — воскликнул Малаховский.

Ян Козел, Эдмунд Верига и Ахилла Банольди дружно закивали головами в знак согласия.

— Пожалуйста, гражданин Петровский. Мы слушаем вас,— сказал Кастусь.

Юзеф Петровский, молодой человек с хорошо замет-

ной военной выправкой, которую он приобрел в Генуэзской военной школе польских эмигрантов, заговорил энергично и убежденно:

— Мы не виноваты, граждане члены Комитета, что так получилось...

— Вот тебе и на! — развел руками Малаховский.— А кто же? Может быть, мы?

— Виноват царь Александр Второй. Он, как вы хорошо знаете, распорядился набрать в Польше рекрутов...

— Ну и что же? — спросил Верига.

— А то, гражданин Верига, что жеребьевка на призыв в этот раз отменена. И рекруты будут набираться прежде всего из городской молодежи. И не по выбору военных ведомств, а по доносу полиции. Полиция заранее составила списки рекрутов. И как вы думаете, кто попал в эти списки? Те, кто участвовал в наших демонстрациях. А ведь именно на них вся наша надежда. Центральному комитету удалось достать списки рекрутов-варшавян и передать многим молодым людям, чтобы они спрятались в лесах и деревнях. Но полиция разгадала наш маневр и в ночь на пятнадцатое января (по русскому календарю это было третье) устроила облаву. Всех, кто был схвачен, силой загнали в казармы. Что оставалось делать Национальному комитету? Ждать, пока полиция переловит и загонит в казармы всех будущих повстанцев или как-то спасать их во имя святого дела?

Все тяжко вздыхали, слушая это, но молчали. Поистине страшный удар нанес восстанию царь своим рекрутским набором. Кто бы мог подумать, что так обернется дело. Уже сколько лет, со времени Крымской войны, ни из Польши, ни из западных губерний рекрутов не брали. А до этого шли в рекруты тоже только самые невезучие — по жеребьевке — пять человек из тысячи. Брать же без всяких правил, по заранее составленным спискам — нет, такого еще не бывало!

— Представьте себе, что произошло дальше,— продолжал Юзеф Петровский.— После первой облавы бросились в леса и те, которые были в списках, и те, которых не было. И все они настойчиво требовали от Центрального комитета, чтобы он начинал восстание. В случае, если не начнет он, угрожали начать сами. Понятно, что получилось бы, если бы выполнили они свою угрозу. Анархия и ненужные жертвы. И жертвы эти оста-

лись бы на нашей совести. Вот почему Центральному комитету пришлось объявить инсургенцию [1].

Ответ Юзефа Петровского был ясным и обоснованным и все-таки не удовлетворил членов Комитета.

— Спасая рекрутов,— сделал вывод Кастусь,— Центральный комитет, отныне именуемый Временным правительством, поставил под страшный удар все наше дело. Он поддался на провокацию царских генералов, которые знают, что к восстанию мы еще не готовы и не хотят дать нам время до весны, а потому и устроили нам ловушку. Неужели Варшава не видит этого?

— Поймите, гражданин Калиновский,— ответил Юзеф,— от стремительно разворачивающихся событий у Варшавы кружится голова...

— Она просто потеряла голову,— с сожалением сказал Кастусь.— Нетрудно было найти иной выход.

— Какой?

— Хотя бы послать своих командиров в леса и деревни — туда, где скрываются молодые люди, и задержать их там до весны, не принимая боя. Разве этого нельзя было сделать?

— Но ведь молодые люди нетерпеливы. Да и сам генерал Мерославский торопил...

— Не так, наверно, Мерославский, как его варшавские приверженцы,— заметил Верига.— Их сотни. И верховодит ими самый безрассудный из них — начальник тайной полиции Центрального комитета Окулярник. О нем уже сейчас говорят как о будущем диктаторе с кинжалом в зубах. Он ведь еще прошлым летом подбивал Центральный комитет на выступление.

— Не все члены Центрального комитета были за немедленное восстание,— откровенно признался Петровский.— Помимо всего прочего, у нас еще мало оружия. Не советовали нам спешить и русские революционеры Герцен и Бакунин. Они тоже считают, что нужно дождаться весны.

— Почему же вы не вняли их советам? — снова зашумели члены Комитета.

Петровский виновато потупился и потер виски.

— Что поделаешь... Центральный комитет еще осенью

---

[1] Инсургéнция (лат.) — восстание против правительства.

обещал спасти рекрутов. Для этого им было предложено участвовать в восстании. Ну вот и пришлось держать слово...

— Что думают члены Комитета? — спросил Кастусь.

Мнения разделились. Разгорелся спор. Судили-рядили и в конце концов решили послать Яна Козела в Петербург — к Сераковскому и в Москву — к Звеждовскому. Как они скажут, так и будет. Тем паче, что никто из членов Комитета не счел возможным без согласия Сераковского заменить его как военного руководителя восстания.

Юзеф Петровский заявил, что без ответа Вильно он не может возвратиться в Варшаву и остается ждать Сераковского или его ответа.

Шли дни. Восстание из Польши перекинулось на западные земли Гродненской губернии: туда из Подляшского воеводства прибыл со своим отрядом Роман Рогинский. А в Свенцянском уезде Виленской губернии совершили нападение на гарнизон царских войск люди Станислава Буховецкого.

Узнав об этом, Кастусь снова созвал Комитет.

— Мы не хотели и не хотим этих преждевременных выступлений,— сказал он.— Они не на пользу делу восстания. Мы не успели еще пустить глубокие корни в народе. Но, дорогие друзья, мы не можем стоять в стороне и спокойно смотреть, как льется за Неманом кровь наших собратьев по оружию. Все наши споры с Варшавой не должны заслонять главного — освобождения наших народов от царского ярма. Свобода — наша цель. Завоевать же ее мы можем только вместе с поляками. Польское дело — это наше дело, это дело свободы. Я так думаю, гражданин Петровский.

— И я тоже! — повеселел Юзеф.— Мы боремся за нашу и вашу свободу.

И Кастусь объяснил членам Комитета, что, хотят они того или не хотят, остановить восстание уже невозможно: оно само пришло на их землю.

— Я предлагаю,— сказал Калиновский,— дать согласие Варшаве, не дожидаясь ответа Сераковского и Звеждовского.

Других предложений не было, и Кастусь огласил проект короткого воззвания к народам Литвы и Беларуси:

Братья! Королевство восстало. Наши везде и всюду бьют царские войска. Кровь, которая льется за Неманом, зовет нас к оружию. Потому что и для нас наступает время борьбы с захватчиками за наши священные права, за нашу свободу! Встанем же дружно, и бог нам поможет!

Воззвание было одобрено членами Комитета. Юзеф тоже не возражал против него, хотя попросил добавить в конце обращение к господу богу — такое же, как в манифесте. С ним согласились все, ибо присоединяться к восстанию без помощи господа бога никто не хотел.

Когда же вернулись к манифесту Временного польского правительства, который нужно было либо принять, либо отвергнуть, снова разгорелся спор.

— Манифест, который мы собираемся сейчас объявить народу,— сказал Кастусь,— весьма уязвим. То, что он провозглашает свободу и равенство и, в отличие от манифеста царского, передает бывшим крепостным крестьянам землю без выкупа и тотчас же, а не спустя много лет,— это положительная сторона варшавского манифеста. И в этом его сила. Мы с радостью присоединяемся к этой его части. Но манифест грешит и слабостями. Он обещает кутникам, батракам, отставным солдатам по три морга земли в случае, если они присоединятся к восстанию. А что же будет с теми, которые по разным причинам не присоединятся? Что получат они? Что им обещает манифест? Посох и суму! Зато не позабыл манифест тех, кого все крестьяне — и малоземельные и безземельные — ненавидят всею душой. Я имею в виду пятый пункт: «Польское правительство возместит расходы тем помещикам, которые понесут убытки из национальной казны». Видите ли, какая предусмотрительная и деликатная опека над этими дармоедами! У них остаются тысячи моргов земли, а правительство еще намерено пожаловать им тысячи и тысячи рублей в возмещение ущерба, то есть иными словами — выкупить у них крестьянские наделы. Так ведь это то же самое, что делает царь. Разница только в том, что царь хочет содрать деньги с самих крестьян, а польское правительство — с казны... Но ведь если уж всю правду говорить, так в конечном-то счете рассчитываться с помещиками будут все те же крестьяне. То есть этого хотят авторы мани-

феста. Мы же с этим согласиться не можем... Свобода и равенство без земли — это и не свобода, и не равенство.

После обсуждения манифеста в целом решили принимать его по пунктам.

С первыми двумя пунктами согласились без прений. Малаховский заметил, что не очень приятно будет литовским и белорусским крестьянам читать или слушать конец второго пункта: «Эта земля польская, а не русская». Но Юзеф Петровский тут же объяснил, что иначе написать никак нельзя. Речь ведь идет о государстве польском, а не литовском или белорусском. Земля принадлежит государству, а не отдельным ее провинциям.

Малаховский поморщился, но замечание вынужден был снять.

В пункте четвертом всем хотелось обозначить не три морга, а хотя бы пять. Но Юзеф решительно встал на защиту этого пункта и легко объяснил, что менять его теперь уже поздно. Манифест уже читают по всей Польше. И не может ведь польское правительство обещать, скажем, крестьянам Подляшья по три морга земли, а их соседям, крестьянам Гродненской губернии,— по пять.

— Так почему же не позвали кого-нибудь из нас, когда писали манифест? — возмутился Малаховский.

Юзеф только пожал плечами и вытер платком пот со лба: на этот вопрос он ответить не мог... Но как бы там ни было, а пункт четвертый прошел. Удалось Юзефу отстоять и самый спорный пункт манифеста — пятый.

— Если опустить пункт о возмещении ущерба помещикам, то землевладельцы нас не поддержат,— сказал он.

— Зато нас поддержат те, кого землевладельцы душили веками и душат сейчас,— возразил ему Кастусь.— А это важнее.

— А кто даст деньги, оружие, провиант для повстанцев? — не сдавался Юзеф.— Мужик? Да у него ведь, кроме кучи голодных детей на печи, нет за душой ничего...

— Зато у него душа чистая,— бросил Малаховский.

— К сожалению, этого для нашей народной войны слишком мало...

Пункт пятый, таким образом, тоже остался, хотя Юзеф согласился снять последние слова «из национальной казны». Они ведь, по существу, никакого значения

не имели —все равно было ясно, что правительство не собирается выплачивать помещикам деньги из собственного кармана.

Когда манифест был в конце концов утвержден, Малаховский спросил:

— А кто же подпишет этот манифест?

— Как кто? — удивился Юзеф.— Ваш Комитет.

— Комитет или Временное правительство Литвы и Беларуси?

— Об этом я тоже думал,— сказал Кастусь.— Но вы ведь знаете, что Варшава и без того обвиняет нас в сепаратизме. Как на это смотрит посланец Временного национального правительства?

Для Юзефа этот вопрос оказался неожиданным: ни Подлевский, ни Бобровский, которые отправляли его в Вильно, об этом не говорили. Но, добившись в своей миссии основного, он теперь готов был сделать некоторую уступку и Вильно. Что ж, в конце-то концов, пускай слово «комитет» будет заменено на «правительство». Пускай к слову «Литва» будет добавлено слово «Беларусь». Поправки эти существенных изменений в дело не вносят. Но выбросить слово «провинциальный» — это уж никак невозможно! Нет, нет! Ни в коем случае! Так, пожалуй, можно докатиться и до самостоятельного литовско-белорусского государства!

И Юзеф горою встал за это слово! А Кастусю с Малаховским, хоть и нехотя, снова пришлось пойти на уступку.

После этого Юзеф Петровский со спокойной совестью уехал в Варшаву.

II

Волшебница-зима пришла на поля и в леса. Просторными белыми пологами покрыла холмы и долины, сверкающим снегом замела разлапистые ели и хвои, серебристым инеем повисла на дубах и кленах.

Казалось, ничто не нарушает сонного покоя дремучей Беловежской пущи. Лишь изредка мелькнет меж деревьев неугомонная белка или трудолюбивый дятел застучит по сухой коре.

Глубокие сугробы перекрыли все тропы, и не видно

было нигде человека. Да и зубры и лоси тоже больше отлеживались теперь в тихих и укромных местах. Волки и те жались к человеческому жилью, потеряв надежду выследить зайца или куропатку.

Замерла Беловежская пуща.

И только на самом ее краю, в усадьбе лесника Савелия, жизнь шла своим чередом. Здесь по-прежнему печаталась «Мужицкая правда». Здесь встречались Валерий Врублевский с Феликсом Рожанским и членом гродненской революционной организации чиновником из местечка Семятичи Станиславом Сангиным. Сюда же поздней осенью возвратился и Язэп.

Тюремный фельдшер Станислав Шпаковский придумал ему какую-то страшную болезнь и положил в городскую больницу. А оттуда, переодевшись, и махнул Язэп к Савелию.

На этот раз увидел он в усадьбе лесника беглых рекрутов, тех, кого царь вознамерился загнать на двадцать лет в свои мрачные, похожие на тюрьму, казармы. Был среди них и Петрусь, парень с рассеченной щекой из имения пана Жердецкого, старый знакомый Язэпа. После того как пан загнал в острог дядьку Егора, а потом и Язэпа, Петрусь не находил себе места. Ему хотелось хоть как-нибудь отомстить пану и его тивуну. Дракула на каждом шагу ощущал, как ненавидит его этот молодой светловолосый батрак, и поэтому всячески измывался над ним. И когда однажды ночью кто-то хорошенько огрел тивуна увесистой дубиной, он решил, что это дело рук Петруся. Пан уже намеревался посадить парня в острог, но тут начался рекрутский набор, и Жердецкий смилостивился, решив отдать его в солдаты. И не миновать бы Петрусю солдатчины, если бы вместе с другими рекрутами не сбежал он к Савелию.

Хата лесника и все постройки его усадьбы давно уже стали тесны для многочисленных постояльцев. Да и не прокормил бы их Савелий, если бы не Валерий с Феликсом, которые не оставили беглецов в беде.

Получив манифест Временного правительства Литвы и Беларуси и приказ о восстании, Валерий сразу превратил усадьбу Савелия в надежное убежище для беглых рекрутов. И еще одно место для этой же цели нашел он неподалеку от Соколки.

Но убежища убежищами, а что делать дальше, Вале-

рий, так же как многие другие военные руководители уездов и округов, не знал. Ведь формирование отрядов было намечено на весну, и сейчас ничто не было готово к восстанию.

Для начала решил он использовать деньги, которые недавно получил от Заблоцкого на разные общественные нужды, и свои. Он отправился к знакомым кузнецам Соколки и соседних местечек и заказал им около тысячи кинжалов. У знакомых лавочников скупил все косы и охотничьи ружья и тайком переправил их к Савелию. Надо было бы приобрести свою, пусть хоть небольшую кузницу, но денег не осталось, и Валерий срочно выехал в Гродно, к Эразму Заблоцкому.

Эразм встретил его с радостью. Он только что вернулся со своей строительной комиссии.

— А я уже, братец, не раз тебя вспоминал,— сказал он, обняв Валерия.— Собирался уже за тобой посылать, чтобы приехал. Важные дела начинаются.

— Ну, о важных делах я знаю,— ответил Валерий.— Однако нам сперва нужно заняться не важными, а будничными.

— Не все ты знаешь,— улыбнулся Эразм.

Он отомкнул небольшой железный ларец, стоявший на стареньком темном комоде, и достал оттуда несколько листов бумаги, исписанных ровным мелким почерком.

— Это последняя почта его превосходительства нашего любезного фон Галлера.

— Тебе все еще присылают ее?

— Как видишь.

Эразм вышел на кухню, чтобы поставить самовар, а Валерий занялся чтением губернаторской почты.

Первым в губернии откликнулся на восстание белостокский исправник Загорянский. Он передал по секретной эстафете[1]:

«С 10 на 11 число сего генваря[2] месяца поздней ночью многочисленная толпа неизвестных людей, вооруженных пиками, косами и прочим железным оружием, с шумом и криком ворвалась в пограничный город Су-

---

[1] Эстафе́та — здесь: почта, которая доставлялась нарочными, обычно верховыми.

[2] Января.

рож. Удалось выяснить, что злоумышленники следуют из Царства Польского...»

— Великолепно! — воскликнул Валерий.— Рад приветствовать соседей в родных гродненских местах. Милости просим! Добро пожаловать!

— А каково Галлеру? — откликнулся из кухни Эразм.

— Пока его черти не возьмут, я не успокоюсь.

— Ну, это уж наша забота помочь ему отправиться в геенну огненную. Читай, читай, там и о нашем Сангине есть кое-что. Так что мы уже, можно сказать, братаемся с соседями.

И Валерий снова углубился в донесение исправника Загорянского. Тот докладывал, что командир 7-й роты 2-го батальона Либавского пехотного принца Карла Прусского полка капитан Малюга встретил «оную толпу» в боевом порядке, но после небольшой стычки вынужден был бежать в село Растолы. Потери: двое рядовых и один барабанщик. Разграблен цейхгауз [1].

Валерий закурил и, охая от удовольствия, перешел к следующему сообщению — рапорту брестского городничего Зайчикова.

Насмерть перепуганный, городничий жаловался, что мятежники напали на артиллерийский парк в местечке Кодно, под Брестом, и обезоружили всех офицеров, похитили казенный ящик с деньгами, а солдат, которые пытались обороняться, перебили и что мятежники эти были вооружены как холодным, так и огнестрельным оружием.

— Тоже неплохое начало,— сказал Валерий.— Значит, правду говорят: «Смелость города берет». Кто же там у них верховодит?

— Это я уже знаю,— ответил Эразм, входя в комнату.— Есть сообщение от Станислава. Передает, что выступил вместе с Романом Рогинским и Владиславом Тихорским — оба из Польши. Да ты читай, читай дальше!

Валерий снова забегал глазами по бумаге.

— Доносит бельский земский исправник Лаварк. Ишь ты! Четырнадцать рекрутов отбили! Молодцы! А какого страха нагнали на калечицкого мирового посредника! Превосходно!

---

[1] Цейхгáуз — вещевой склад.

— Дальше читай!

— В Семятичах тоже отбили рекрутов и, подумать только, читали народу манифест! Вот: «Пристав 2-го стана донес, что партия мятежников, прибывшая в имение Рудку, собрав вокруг себя народ, провозгласила какой-то манифест и сожгла все бумаги и дела волостного управления». Так, хорошо. Именно сжигать надо их черные дела! — воскликнул Валерий.

— Ого! А манифест читал? В нем ведь Варшава обещает возместить помещикам их ущерб от восстания!

— Вот тебе и манифест!

— Что поделаешь! Зато, пока мы еще только собираемся, наши соседи уже на коне.

Валерий задумался.

— Так-то оно так,— проговорил он.— Но кажется мне, что главные сражения еще впереди. Царские служаки растерялись, войска распылены, вот и удается Варшаве совершать внезапные нападения. Нам будет труднее. Ну да ничего. Взялся за гуж — не говори, что не дюж. Посмотрим, однако, что же творится в Семятичах. Вот: «При сем честь имею доложить, В. п., что шайки мятежников ежедневно появляются, особенно по ночам, вблизи города Бельска, в лесах и на дорогах, ведущих на Драгачин, Цехановец и Семятичи... и не допускают никаких официальных сношений с городом Бельском...» Ого! Да они там атакуют по всем правилам военного искусства: оседлали дороги, отрезали гарнизоны... «А от пристава 4-го стана никаких донесений до настоящего времени не получено по той же самой причине, ибо, как дошло до моего сведения, мятежники расположились в имении Семятичи и к ним присоединяется шляхта, особенно из сел 3-го и 4-го станов вверенного мне уезда...»

Валерий положил бумаги на стол.

— Ты только подумай, что происходит,— многозначительно произнес он, глядя на Эразма.— К повстанцам из Польши присоединяются наши гродненские крестьяне со своим вожаком и нашим товарищем Станиславом во главе. Вот что для нас важнее всего в этом рапорте. Скажу тебе еще раз: хорошее начало. Не помещики присоединяются к восставшим, а мелкая шляхта и мужики. Этот рапорт необходимо сейчас же послать Кастусю. Пусть порадуется вместе с нами.

— Я, между прочим, тоже об этом думал,— сказал Эразм.— Ну, что у тебя?

Валерий рассказал о том, что он успел сделать в Соколке и ее окрестностях. Сейчас ему нужна своя кузница. Ее можно было бы разместить опять-таки в усадьбе Савелия. Но денег, к сожалению, больше нет.

— Денег мы тебе достанем,— обещал Эразм.— Теперь мы их собираем больше: обложили налогом каждое имение. Это, пожалуй, все, чем могут быть нам полезны помещики. Наши сборщики приходят к ним от имени Временного польского правительства. Не согласен — иди под суд.

— Наконец-то мы начинаем разговаривать с ними на понятном языке. Иначе нельзя. Нужна строгая военная дисциплина. И очень хорошо, что поднимаются на восстание наши уезды. Я думаю, собирать отряды по всей губернии пока еще нет необходимости. Пусть каждый выступит самостоятельно. Сейчас время партизан: неожиданный удар и стремительный выход из боя. Мы ведь не регулярная армия. Другое дело, что руководить всеми отрядами должен один центр, чтобы можно было собирать их в кулак и рассредоточивать по лесам и селам. То есть, говоря языком военным, маневрировать.

Эразм выглянул на кухню.

— Батюшки! — всплеснул он руками.— О самоваре-то я и забыл! Он там, кажется, выкипел до дна.

— Ничего,— улыбнулся Валерий,— это еще не та беда, которой нам надо бояться.

III

Губернатор фон Галлер окончательно потерял покой. Куда только девалась его чванливая самоуверенность. Чувствовал он себя тоже плохо: часто жаловался на сердце и с тревогой прислушивался к зловещему шуму в голове. «Старею,— с тоской думал генерал.— Что ни говори, седьмой десяток. Не пора ли в отставку?» Но тут же отгонял от себя это искушение. Уйдешь — что подумают в Петербурге? Еще, чего доброго, трусом сочтут, а то и изменником. Оставить губернию, когда на ее западной границе уже идет настоящая война! Нет, такого никто не поймет и не простит.

Галлер достал из личного сейфа строго секретные рапорты и циркуляры и, перечитывая лаконичные строки, в который раз пытался найти в них ответ на наболевшие вопросы. Но ничего утешительного обнаружить так и не мог. Мировые посредники и владельцы имений из всех волостей и уездов слезно умоляют помочь: с того дня, когда вспыхнуло восстание в Польше, мужики будто бы сговорились — уставных грамот не подписывают, на барщину не выходят. Что же станется теперь с имениями? Обеднеют помещики, и, стало быть, обеднеет губерния. Одно спасение — солдаты и казаки. Но ведь их тоже не всегда можно послать: они необходимы для защиты городов — не ровен час, инсургенты могут пожаловать и в Гродно! На армию вся надежда.

Губернатор с удовлетворением вспомнил рапорт генерала Манюкина о том, как недавно разбил он мятежников под Семятичами, а само местечко сжег дотла. Правда, Манюкин добился успеха не храбростью. Он сделал вид, что испугался мятежников и поспешно отступил из местечка. Повстанцы не разгадали его коварства и бросились следом за ним. А в открытом поле семи ротам с артиллерией и казачьими сотнями в придачу не стоило особого труда расстрелять людей, вооруженных кинжалами и охотничьими ружьями.

И все же такой утешительный рапорт пока был всего-навсего один. Остальные не радовали.

И особенно озадачивали сообщения о мужиках, которым повстанцы читают свой манифест, противопоставляя его царскому. В этом чудилось Галлеру нечто демоническое.

Губернатор склонился над текстом манифеста, присланном ему из Вильно. Попытался представить себе, какое впечатление может произвести он на мужика. И невольно сам сравнил его с царским. Царь обещает мужику полную свободу от крепостного права только тогда, когда он выкупит свой надел земли. А этот крамольный манифест дает ему ту же волю незамедлительно, без каких бы то ни было отсрочек и безо всякого выкупа, делает мужика равным перед законом с помещиками, мещанами и всеми прочими сословиями. В царском манифесте нет на это даже намека.

И какой бы ни был святыней для Галлера царский манифест, а он все же поймал себя на мысли о том, что

если дать мужику право выбора, то он обеими руками ухватится не за царский, а именно за крамольный. Не поэтому ли генерал-губернатор Назимов в последнем своем циркуляре неожиданно становится на защиту крестьян от злых помещиков. Он ведь так и пишет: убедился, мол, что воинские команды приходится посылать для экзекуции в имения тех помещиков, которые своим жестоким обращением и разными чрезмерными повинностями вооружили против себя своих крестьян.

«Как же это понять? — думал Галлер. Месяц назад Назимов считал всех помещиков ангелами, а всех мужиков — бунтовщиками и мятежниками. Откуда же такая неожиданная перемена?»

Галлер еще не знал, что не сам Назимов переменился: такой циркуляр губернаторам Северо-Западного края посоветовало ему написать петербургское начальство. Отвлечь крестьян от мятежа чего бы это ни стоило — об этом прежде всего подумали царь и его министры. Это становилось ясно и Галлеру. Но как же теперь, после всего того, что уже свершилось, удержать разбушевавшегося мужика в его прежней покорности? А не удержишь — пойдет он к своему Яське, и тот научит его, научит всему самому страшному... Значит, волей-неволей нужно что-то взять у помещиков и бросить мужикам, чтобы хоть немного их успокоить. Необходимо написать об этом Назимову. Галлер подошел к сейфу и достал папку с «Мужицкой правдой». Сейчас, думал он, именно здесь нужно искать ответ на вопрос, чего хочет мужик. Генерал Манюкин может сжечь еще не одни Семятичи. Но он не сожжет всех деревень и сел.

Последний номер «Мужицкой правды» в губернаторской папке был пятый. Нет, это была не газета, а настоящая бомба, готовая смести весь рекрутский набор.

Ребята! Мало того, что сдирают с мужика на всякие подати последнюю рубаху, мало того, что никогда не можешь добыть себе кусок хлеба, а все, что заработаешь, отдать должен черт знает кому и черт знает за что, мало того, говорю, что жизнь наша хуже собачьей, но скажите, родные вы мои, есть ли среди нас хоть один, кто не оплакивал бы еще или сына своего, или своего брата, или своего мужа, которого царь забрал в рекруты да загнал черт знает куда?

— Господи! — прошептал Галлер.

Он заставил себя читать дальше лишь потому, что все еще надеялся раскрыть тот секрет, который поможет оторвать мужика от инсургентов.

Вот дошел он и до того места, где говорилось о нем самом:

...Не давайте же, ребята, себя обманывать. За мужицкую правду стойте смело, всем миром, и если кто захочет вас обидеть, забрить в рекруты, то, кто бы он ни был — старшина, или окружной, или хоть сам губернатор,— бейте его мужицким своим кулаком! И будет свобода, и рекрутов не будет, и бог вам поможет! Помните, ребята, добром ничего не добьемся!

Прочитав последние слова, Галлер явственно ощутил, словно и на самом деле набросились на него мужики и дубасят его по лысеющей голове кулаками и дубинами. А Яська стоит рядом и хохочет. Генерал вздрогнул.

Нет, так продолжаться не может. Необходимо найти этого самого Яську и обезвредить его. Другого выхода нет. Но где его искать? Леляков и Витт перетряхнули всю губернию. И хоть бы какой-нибудь след. Попадались только те, кто читают и распространяют эту крамолу. А что, если кто-то из них и есть Яська?

Галлер еще раз просмотрел рапорты. Из арестованных в последние дни читателей «Мужицкой правды» заинтересовал его некий Иосиф Горчак — бывший студент Петербургского университета, высланный столичной полицией в родную деревню, и его сообщники Матвей Тюхно, Казимир Станкевич и другие. Не приснилось же солдатке Садковской то, что она так красноречиво рассказывала на допросе аудитору[1] Малыгину: «Зовут меня Агатой Францевной, фамилия — Садковская. От роду мне 38 лет, вероисповедания римско-католического, на исповеди и на святом причастии бываю ежегодно, под судом и следствием не была...»

Ну что ж, думает Галлер, особа вполне приличная. Можно ей верить.

Правда, Садковская всего-навсего пересказывает то, что слышала от других. Но ведь нет дыма без огня. Не-

[1] Аудитор — делопроизводитель или секретарь военного суда с прокурорскими правами.

кая Бакунович сказала ей, что бывший лакей какого-то помещика Матвей Тюхно и эконом Подвысоцкий записались в мятежники. А прислуга некоего Маркевича Казимира рассказала, что Горчак, Тюхно, писарь Павлович и Подвысоцкий собираются у ее хозяина по ночам и что-то пишут и читают какие-то бумаги о царе...

Да это ведь явные улики! Почему же все эти лица до сих пор не арестованы? Галлер недоуменно пожал плечами. Студент Горчак и писарь Павлович... Да они ведь не только «Мужицкую правду» — целый том крамольный могут написать! И помогают им, видимо, Тюхно и Подвысоцкий. Они ведь хорошо знают и мужицкий язык, и вообще, чем дышат мужики, чего хотят...

Правда, сама прислуга Маркевича на допросе показала нечто иное: будто бы Подвысоцкий приходил к ее хозяину, чтобы купить у него сапоги, которые малы ему самому, а зачем приходил писарь Павлович, не знает. Но в этом нет ничего удивительного: такого рода неточности на допросах возможны. Повинен тут, видимо, аудитор Малыгин, который плохо вел дело. Да и свидетели обвинения хороши: генерал-майор Абрамович, корпуса жандармов капитан Шпеер, земский исправник Сущинский, окружной начальник Соколов... Целая свита, а что толку? Все самому нужно видеть и буквально тыкать каждого носом... Вот хотя бы история с неким Калиновским. Сколько месяцев ловят, а все никак не поймают. А кто он, что за человек? Может быть, он и Яська из-под Вильно — одно и то же лицо? Вполне возможно. Сведения о нем, которые удалось собрать, настораживают. В Петербурге дружил со студентами-поляками. Был у них в чести. Отец не знает о нем ничего. В Якушевке, как сообщают осведомители, не бывает. Поздней осенью, правда, явился в отчий дом, но пока об этом узнала свислочская полиция, его и след простыл. Надо же было местному осведомителю мчаться в полицию! Не мог подождать, пока этот Калиновский отправится куда-нибудь, и проследить, куда же именно... А теперь вот ломай голову, жди нового случая, когда еще он представится! Да и вообще неизвестно, за кем следить: круг мятежников, читающих мужикам «Мужицкую правду», все расширяется. Черт их знает всех! Не губерния, а болото, да и только...

Галлер захлопнул папку и тяжко вздохнул.

Вызвав секретаря, он передал через него указание: взять под особое наблюдение бывшего студента Горчака и компанию.

IV

Пока Валерий и его друзья собирали первые повстанческие отряды, в Варшаве и в Вильно произошли серьезные перемены.

Раздоры между белыми и красными, продолжавшиеся годами, вспыхнули теперь с новой силой. Но для того чтобы представить себе, в чем же они состояли, необходимо еще раз обратиться к истории, хотя бы недавней.

Польское государство, так называемая Речь Посполита, которая веками враждовала с Россией и захватывала ее южные и западные земли, в конце восемнадцатого века сама стала жертвой трех соседних держав — Австрии, Пруссии и России. Россия вернула себе свое, а спустя некоторое время посадила царского наместника в Королевстве, или, как называли его русские, в Царстве Польском, созданном после изгнания из Польши Наполеона из части бывшего герцогства Варшавского. Западные же и южные воеводства Речи Посполитой отошли к Пруссии и Австрии.

Надо ли говорить, что потеря своего государства сильно опечалила поляков — богатых и бедных. Над их государством нависли темные тучи.

Не меньшая горечь охватила и ревностных служителей римско-католического костела — польских ксендзов. Столетиями они по приказу римских пап рвались на восток следом за легионами польских королей и магнатов. Кровавым мечом и святым крестом окатоличивали и ополячивали литовцев, белорусов, украинцев. И успели сделать немало.

И вот все это рушилось. Могучий костел, который руководил в свое время даже самими королями, терял свою былую силу и славу. Как тут было не горевать ксендзам о Речи Посполитой!

Первую попытку воссоздать свое государство сделали поляки в 1794 году. Они не добились победы. Однако

восстание и его вождь Тадеуш Костюшко оставили глубокий след в памяти народа. Искры пламени, зажженного Костюшкой, не погасли. Они тлели и разгорались. А в ноябре 1830 года вспыхнули с такой силою, что царской России пришлось воевать почти целый год, чтобы их погасить.

Но как бы то ни было, а и второе восстание окончилось поражением. Такими же неудачными были и выступления против Австрии и Пруссии.

В чем же причина всех неудач? Над этим задумывались лучшие умы Польши.

Одни обвиняли Францию и Англию, которые не помогли полякам осилить самого могущественного врага — русского царя. Другие считали, что на восстание надо поднять весь народ — и шляхту, и крестьян, и горожан, тогда-то и придет победа. С этим не соглашались князья и магнаты, которые боялись давать оружие мужикам и городской голытьбе. Неизвестно еще, в кого она будет стрелять. В Австрийской Галиции, например, в 1846 году холопы перебили едва ли не всех своих господ. Нет, говорили, ссылаясь на это, крупные землевладельцы, не дай бог призвать к восстанию все это быдло![1] Великого польского дела оно не понимает и никогда не поймет.

Нет, уважаемые господа, возражали магнатам сторонники вооружения народа. Мужик пойдет бороться за свободу для своей родины, когда сам станет свободным. А для этого нужно упразднить барщину, дать мужикам землю без выкупа и не считать его рабочим скотом. Тогда он будет стрелять туда, куда нужно. Свобода, равенство и братство — вот та сила, которая объединит весь народ и поведет его в битву за освобождение родины. Пример тому — первая французская революция.

Так постепенно и образовались две партии: партия белых и партия красных. Во главе первой встал богатый магнат князь Адам Чарторыйский, во главе второй — генерал Людвик Мерославский. Оба после второго неудачного восстания эмигрировали и жили в Париже. От-

---

[1] Бы́дло — от польского слова «скот»; в устах помещиков-крепостников — презрительное наименование крестьянской массы как безвольного, бессловесного и покорного стада, опекаемого помещиком.

туда они руководили созданными в Варшаве Дирекцией белых и Центральным национальным комитетом красных.

К соглашению белые и красные так и не пришли. К тому же обе партии были неустойчивы: сегодня тот или иной поляк считал себя красным, а на следующий день неожиданно белел. Или наоборот. Были красные, которые белели, и белые, которые краснели. Одни белые выступали за восстание, другие боялись его, как чумы. Были в обеих партиях правые и левые. Возникло также немало отдельных групп, мелких партий и обществ. И каждая корпорация была убеждена, что только она одна знает секрет спасения Польши и потому только она вправе давать советы и рекомендации.

Немало было и таких господ, которые помогали царю держать в повиновении свой польский народ. Наибольшим холуйством среди них отличался маркиз Александр Велепольский. Занимая высокие должности при царском наместнике в Варшаве, он делал все, чтобы сблизить белых с царским правительством и не допустить восстания. Правда, белые все же за ним не пошли, потому что хотели отобрать у царя не только свое Королевство, но заодно еще и Литву, и Беларусь, и Правобережную Украину. А на это уж царь без войны не согласился бы ни при каких условиях. И когда в начале 1861 года по всему Королевству Польскому прокатилась волна манифестаций против царя, белые поспешили уйти в кусты, уступая дорогу красным и подзуживая их из-за угла: давайте, мол, господа, бунтуйте, а мы вам, если дойдет до дела, поможем. Вам, красным, собственно говоря, терять нечего. А мы, если полезем на рожон, в случае неудачи рискуем своими поместьями. Ринуться в бой Адам Чарторыйский намеревался лишь тогда, когда можно будет наверняка захватить власть, не ставя свою партию под удар, и провозгласить себя новым польским королем. Это могло произойти, если царь испугается и сам отречется от Королевства или его вынудят сделать это Англия и Франция, которым весьма выгодно иметь под боком у могучей России враждебное ей государство — Королевство Польское.

Летом того же 1861 года старый князь Адам Чарторыйский покинул эту грешную землю, и во главе белых встал младший сын его Владислав.

Когда началось третье восстание, оказалось, что генерал Мерославский дал согласие красному Временному правительству взять на себя обязанности главнокомандующего восстанием и уже собирался со своими сторонниками-эмигрантами вернуться на родину. В глубине души был Мерославский скорее либералом, чем революционером. Но уже то, что он намеревался призвать к восстанию городских ремесленников и даже мужиков, насмерть перепугало младшего Чарторыйского и его Дирекцию.

В то же время не было единства и внутри Национального комитета красных, объявившего себя Временным правительством.

Рядом с левыми заседали там правые, которых подсунули в красное правительство белые. Были там люди честные и умные, но были и пустозвоны и крикуны. Однако все без исключения члены Временного правительства сошлись на том, что Польша должна быть воссоздана в старых границах, то есть Литва, Беларусь и Украина должны принадлежать ей. Так, мол, было до раздела Польши, так должно быть и в Польше, освобожденной от царя. И как польские провинции, эти земли должны восстать по приказу Варшавы.

Манифест Временного правительства, дававший крестьянам равные с помещиками права и земельные наделы без выкупа, не обрадовал белых: вырвать у польского пана уступку для холопа было не легче, чем кость из волчьих зубов. И белые решили сделать все, чтобы в случае победы восстания красные не смогли захватить власть.

Зашевелились и зарубежные союзники белых: послали ноты России. Белым казалось, что следом за нотами вот-вот выступят и союзные войска. И, решив, что пора начать действовать, они ринулись в бой.

Не успел главнокомандующий красных Мерославский перейти границу, как захватил его в плен белый отряд богатого помещика Меленецкого, и он вынужден был возвратиться назад, да еще утаить свое поражение от Временного правительства (таково было требование Меленецкого).

Пока красные искали своего диктатора, белые выкрали у них печать Временного правительства и написали

номинацию[1] на должность главнокомандующего своему стороннику генералу Мариану Лянгевичу, широко представив его как руководителя восстания в польских и зарубежных газетах.

Обескураженное таким поворотом дела, Временное правительство передало военную власть новому диктатору и ввело в свой состав одного из членов Дирекции.

И с новой силой разгорелись прежние споры, ссоры, интриги.

Безвольный и бездарный генерал Лянгевич недолго продержался главнокомандующим: потерпев первые неудачи в боях, он бежал в Австрию и был схвачен тамошней полицией.

Именно в это время «побелел» и Нестор Дюлеран, французский поляк или польский француз. Теперь он не упускал случая напомнить, что предки его были маркизами.

Наследник знатного рода, которого Кастусь выставил с заседания Литовского комитета и который искал сочувствия и заступничества в Варшаве, неожиданно снова всплыл наверх и в середине февраля возвратился из Варшавы в Вильно.

Но прежде чем встретиться с Калиновским, которого он, естественно, побаивался, Дюлеран начал искать сторонников. Первым, кого он нашел, был ковенский помещик Якуб Гейштор, глава Литовского комитета белых.

Якуб Гейштор, так же, как Нестор Дюлеран, боялся Калиновского и его чересчур свободных взглядов. Но пока он только зорко следил за Кастусем, надеясь на Сераковского, родственника Франца Далевского. Гейштор полагал, что Сераковский рано или поздно разойдется с Калиновским и заставит его отказаться от хлопоманства. Что ни говори, а Сераковский — коренной поляк, хотя и находящийся под влиянием революционных фантазий Герцена и Чернышевского.

Руководимые Гейштором белые чинили препятствия красным где только могли. Восстания они боялись как огня. А когда оно началось, принялись ставить ему палки в колеса. Они хорошо знали, что Кастусь Калиновский не собирается играть в прятки. Его последняя инструкция повстанческим командирам с полной опреде-

---

[1] Номинáция — назначение.

ленностью свидетельствовала о том, на кого он намерен опираться и какое восстание проводить в жизнь. В инструкции этой сказано четко и ясно: «Наиболее жестоких угнетателей крестьян, по приговору военного суда, не допуская самоуправства, в назидание прочим карать смертью перед лицом всего народа». Не означает ли это, что следует повесить и самого Гейштора, а также графа Стаженского и графа Пляттера?

А тут и в Царстве Польском белые зашевелились. Об этом сообщил Гейштору граф Стаженский, который поддерживал связь с белой Варшавой.

Объединившись с Дюлераном, Гейштор думал о том, как взять восстание в свои руки и повести его по белому пути.

Дюлеран пригласил на конспиративную квартиру Гейштора и членов Литовского комитета.

До Кастуся уже дошли слухи о переменах в Варшаве. Но он не думал, что и в Вильно начнется нечто подобное. Пока он был хозяином в Комитете, все шло, как было задумано им: отряды пополнялись крестьянами и обедневшими шляхтичами, начальники отрядов, сотен и десятков подбирались из людей, которые меньше всего думали о новом монархе, а честно служили простому народу. Словом, Кастусь и его единомышленники готовились с наступлением весны начать широкую народную войну.

Нестор Дюлеран показал членам Комитета свою новую номинацию и приказ Варшавы о переименовании Литовского комитета в Отдел, руководящий провинциями Литвы.

Когда члены Комитета ознакомились с этими документами, Нестор торжественно произнес:

— Пользуясь высокими правами, данными мне Варшавой, и от ее имени я объявляю Литовский комитет распущенным. Слово для оглашения состава Отдела предоставляю моему другу Якубу Гейштору.

— А вы не шутите, гражданин Дюлеран? — спросил Кастусь.

— Как видите, нет, гражданин Калиновский,— холодно ответил Дюлеран.— Надеюсь, на этот раз вы будете вести себя прилично.

— Гони вас в дверь, вы лезете в окно,— сказал Кастусь.

Ему так хотелось снова вышвырнуть Дюлерана вон. Но, к сожалению, обстановка так резко изменилась, что сделать это было невозможно.

Гейштор встал, выдержал паузу и заявил:

— По согласованию с Варшавой, в Отдел назначаются следующие лица.— И он назвал всех членов своего белого Комитета.— Обязанности между собой мы распределим сами. Бывшему Литовскому комитету предлагаю сдать мне свою печать, списки организации и денежный отчет.

Произнеся все это, Гейштор сел на свое место и с торжествующим видом уставился на Кастуся.

Кастусю стоило больших усилий сдержаться и промолчать.

Поднялся Малаховский — повстанческий начальник Вильно. Неожиданный удар по Комитету ошарашил его не меньше, чем Кастуся.

— Вот оно что! — гневно заговорил он.— Выходит, дело свое мы должны передать контрреволюционным помещикам — господину Гейштору и его белой компании?

Дюлеран замахал на него руками:

— Почему же помещикам, гражданин Малаховский! Мы не собираемся упразднять партию, к которой принадлежу и я сам.

— Принадлежал...— усмехнулся Малаховский.

Гейштор поднял руку:

— Сейчас, господа, не до споров, кто белый, кто красный. Отечество требует от нас единения всех национальных сил и средств. И мы не можем доверить восстание тем, кто готовит войну между сословиями. Называть нас контрреволюционерами могут только люди, которым не дорога святая и многострадальная родина наша и священная вера дедов и отцов.

Кастусь слушал Гейштора и все больше убеждался, что не судьба родины его волнует, а собственное имение. Почуяв угрозу своей собственности, он и бросился в бой.

Кастусь взял слово и сказал:

— Граждане и господа! То, что мы сейчас услышали, не лезет ни в какие ворота. Это самая настоящая измена нашей революции, как бы господин Гейштор тут ни оправдывался. Воистину революционная партия красных должна безропотно подчиниться тем, кто просто-напросто боится восстания и стремится свести его на нет. Ны-

нешнее варшавское правительство боится света, боится вынести великий исторический спор с поработителями своей родины на суд всего народа.

Кастусь остановился, задумался. Потом тряхнул темно-русой шевелюрой и решительно произнес:

— Если вы, господин Гейштор, и ваша партия желаете успеха восстанию, идите к нам с открытою душой, без камня за пазухой. И мы пожмем вам руку, если она не запятнана кровью ваших крестьян. Но на старые порядки мы не согласимся. Век рабства уходит в небытие. Даже американские негры рвут кандалы, в которые закованы были веками.

— Я не понимаю вас, господин Калиновский! — вскочил Гейштор.— Разве мы, помещики Литвы и Белой Руси, выступаем против упразднения крепостного права? Да мы ведь первыми откликнулись на призыв царя... Наконец, мы и не против манифеста Временного правительства Польши, который идет дальше царских милостей и, как вам известно, не за ваш, а за наш счет. Зачем же вы нас оскорбляете?..

— Вы прекрасно понимаете, господин Гейштор, о чем идет речь,— ответил Кастусь.— И милости царские, и милости панские — это еще только жалкая подачка нищему, а не воля многомиллионному крестьянству. Я говорю о миллионах людей, которые по вашей милости или совсем безземельны, или должны получить сейчас обкорнанный вами, помещиками, надел самой плохой и неудобной земли. Вы, господин Гейштор, знаете это лучше меня, потому что еще совсем недавно вызывали в свои имения казаков, чтобы они стегали нагайками и розгами ваших мужиков... Так разве ж могут ваши крепостные доверить вам свою судьбу сейчас, в грозную годину своей истории? Сперва вы хоть спилите когти, которыми вы сдирали с них шкуру!.. Тогда, быть может, они вам и поверят, что вы хотите им добра, и пойдут за вами...

Гейштор побледнел.

— Довольно, господин Калиновский! — закричал он не своим голосом.— Хватит! Я уже сказал: споров с вами мы вести не намерены!

— А что — намерены воевать?

— Нет, но мы раскроем ваши имена в печати! Выбирайте: или соглашение — и мы пойдем на восстание вме-

сте с вами, или — царская петля... А если не царская, то наша — за измену...

— Ах вот как! — побагровел от гнева Кастусь.— Так знайте же, господа белые, что царь и без вас давно уже приготовил петлю мне и моим друзьям. И этим вы нас не запугаете!

В спор вмешались Болеслав Длусский и Эдмунд Верига. Они высказались за самостоятельность Литвы. Но не возражали против изменений в составе Комитета. Чехович молчал. Козела на заседании не было: он еще не вернулся из Петербурга.

— В такое время,— сказал Длусский,— никак нельзя дробить и распылять наши силы. Удастся нам самим одержать победу или нет — это еще неизвестно. А если присоединимся к Варшаве, чего-нибудь да добьемся.

— Вот именно только чего-нибудь! — скептически заметил Малаховский.

Длусский пожал плечами:

— Лучше синица в руках, чем журавль в небе.

— А если синица обернется новой монархией и вместо русского царя появится не менее свирепый польский король?..

Длусский не смог ответить на этот вопрос Малаховского.

Верига, как всегда, твердил, что мало верит в крестьянское восстание. Роспуска Комитета Варшавой Верига не одобрил. Почему Варшава так цепко держится за свои бывшие провинции? Ведь в этих провинциях, которые, кстати, в несколько раз больше самой Польши, поляков мало, примерно десятая часть населения. Бесправный отдел вместо равноправного Комитета — это пощечина революционерам Беларуси и Литвы.

Распустить Комитет Кастусь отказался.

— Мы будем решительно протестовать! — заявил он от имени Комитета.

На следующий день он передал Дюлерану гневный протест, адресованный Временному правительству. Дюлеран обещал переслать его в Варшаву, однако снова заявил, что все это бесполезно. Дело восстания перешло теперь в другие руки. Если Кастусь хочет послужить делу Польши, то Дюлеран не будет возражать против того, чтобы он был назначен комиссаром Гродненского воеводства. Малаховского, которого он тоже уважает

как человека честного и умного, он может оставить помощником начальника города Вильно. Для остальных членов Комитета тоже найдутся должности, достойные их.

Почему так любезен был Дюлеран? А потому, что и он, и Гейштор хорошо понимали, что Кастусь и его друзья пустили в организации глубокие корни. И если их совсем отстранить, это может повредить делу. Поэтому, взяв крутой поворот, они все же дальше запугиваний пока не шли.

Кастусь мучительно переживал крушение своих планов. В последнее время белые укрепились во многих городах и местечках. Это было серьезным ударом по красным. Из-за этого потерпел неудачу отряд Феликса Вислоуха. В начале февраля друзья из Петербурга и Варшавы передали Комитету сообщение, что в Литву направляется по железной дороге Вторая гвардейская дивизия и что ее необходимо задержать где-нибудь на пути к Вильно. Комитет поручил способному молодому командиру Вислоуху собрать в Свенцянском уезде отряд, взорвать железную дорогу и разгромить дивизию или, в крайнем случае, задержать ее в труднопроходимых лесах.

Но Вислоух, воспитанник Генуэзской школы и ученик Мерославского, не понравился белым. Чего могли они ждать от этого красного, стоящего во главе большого вооруженного отряда? Что получится, если он успешно проведет операцию? Тогда он станет знаменитостью. А это уже серьезная угроза для Гейштора и его приспешников. И вот белые задумали сорвать дело. И сорвали.

Как же быть? Дать белым бой, думал Кастусь,— это значит начать войну на два фронта — против царских гвардейцев с казаками и против белых отрядов.

Прошло несколько дней мучительных раздумий. Варшава не отвечала: Кастусю и в голову не приходило, что Дюлеран даже не собирался отправлять его протест.

Тем временем произошли новые события.

Повстанческий манифест наделал в Петербурге не меньший переполох, чем в Вильно и Гродно. И царь скрепя сердце подписал новый указ для охваченных восстанием западных губерний: прекратить с 1 марта барщину и на двадцать процентов снизить плату за крестьянские

наделы. Это была первая победа над крепостнической царской Россией. Пусть небольшая, но все же победа. И в то же время это была угроза для широкого народного восстания, о котором мечтал и которое, в меру сил своих, готовил Кастусь. В этом-то и состоял коварный замысел царя: он рассчитывал оторвать мужика от повстанцев, крепче привязать его к себе.

Новый царский указ пошел гулять по селам и деревням, сбивая с толку несчастного мужика. Два года ждал он нового царского слова о воле и вот — дождался. Значит, царь не обманул. Значит, он по-прежнему добрый. И только помещики и чиновники не желают мужику хорошей жизни.

Началась борьба за бывшего крепостного: царь тащил его на свою сторону, повстанцы — на свою, при этом Кастусь и его сторонники хотели сделать его хозяином восстания, а белые — слугой.

Из Варшавы приехал в Вильно полковник Онуфрий Духинский, назначенный военным начальником Гродненского воеводства вместо Валерия Врублевского... Значит, та организация, которой отдал Кастусь частицу своего сердца, которую сам создал и выпестовал, тоже переходит теперь в распоряжение Варшавы...

Кто такой Духинский? Пожилой человек, рядовой участник былых восстаний, ничем не отличившийся и не прославившийся. Почему же он назначен на высокую должность? Видимо, полковник — друг-приятель Мерославского, который, вероятно, и порекомендовал его. Могли Кастусь с легкой душою доверить ему свою родную организацию? Тут-то и призадумался он над предложением Дюлерана. Вернуть то, что было, все равно уже нельзя. Но можно еще спасти хоть что-то, вернувшись в Гродно комиссаром при воеводском и военном начальниках.

Дюлерану, кстати сказать, тоже не хотелось целиком и полностью доверяться белому Гейштору. Как бы ни «белел» Дюлеран, а все же оставался верен своему кумиру генералу Мерославскому и его сторонникам во Временном правительстве. А Мерославский, хотя тоже кое в чем сближался с белыми, все еще не мог простить им того, что они с ним проделали, и все еще держал камень за пазухой. Дюлеран тоже вел недобросовестную игру, очень похожую на заурядную политическую ин-

тригу и рассчитанную на то, чтобы перехватить победу в тот самый момент, когда она будет завоевана.

Взвесив все «за» и «против», Кастусь принял предложение Дюлерана и выехал на родину.

Преследование его Гейштор прекратил.

V

С того времени как Петрусь попал к Савелию, Язэп с ним не разлучался. Хотя Петрусь был немного старше Язэпа, они стали близкими друзьями. И тот и другой очень тосковали по родным местам, часто вспоминали своих земляков, мечтали о том, как снова встретятся с ними.

Лет десять назад забрали Петруся в усадьбу пана Жердецкого точно так же, как Язэпа — в усадьбу пана Ясинского. Родителей его пан Жердецкий давно променял какому-то пану из-под Вильно на поросят модной английской породы. Помещики часто меняли крепостных на собак, лошадей и других животных. Они просто-напросто не считали мужиков людьми. Люди, живые люди были для них собственностью, которую можно было продавать и менять на что угодно. Бедный Петрусь даже не знал, живы его родители или умерли, остались они у виленского барина или он, в свою очередь, перепродал их кому-нибудь еще.

Часто поминали Петрусь и Язэп своих обидчиков — пана Жердецкого и его тивуна Дракулу. Сколько всяких проклятий посылали им обоим! Какой только кары не желали им от бога и от людей! Петрусь все рвался в имение, чтобы подкараулить пана и рассчитаться с ним. Был он парень сильный и отважный, так что уж досталось бы пану... Но Язэп отговаривал друга, снова и снова рассказывая ему, как встретился он сам с паном Жердецким и чем эта встреча кончилась.

Однажды Язэп спросил Петруся, откуда у него шрам во всю щеку.

— Это от панского быка Рогача,— отвечал Петрусь.

— Ты его, наверно, дразнил?

— Что ты! Кто же станет дразнить Рогача? Все знают, что он самый страшный бык на свете.

— Хорошо еще, что глаз уцелел,— посочувствовал другу Язэп.

Накануне весны зашумела усадьба Савелия, словно улей перед вылетом роя. Здесь, в наспех оборудованной кузнице, стучали и грохотали молотки и молоты, звенело и пело железо. Из сарая доносилось повизгивание пил и удары топоров: это плотники насаживали на косовища выкованные кузнецами косы, мастерили разные ящики для хозяйственных нужд повстанцев.

Язэпу поручили отыскивать в лесу стройные прямые деревца для косовищ и пик. Язэп гордился своим делом и делал его старательно и исправно. В своих легких лыковых лаптях обошел он и облазил все ближние и дальние чащи вокруг усадьбы и так приноровился и наловчился, что всегда приносил именно то, что было нужно. Свои заготовки он очищал от коры и сушил на печи.

Теперь часто приезжали в усадьбу лесника подводы с разными продуктами и оружием. Привозили сюда даже и овес и сено: в хлеву и под навесом пофыркивали привязанные кони.

По двору взад и вперед ходили и бегали люди. Многие из них были в простых крестьянских армяках, тулупах и в лаптях. Но мелькали среди армяков и куртки фабричного сукна, и рядом с лаптями поблескивали глянцем сапоги с высокими голенищами. Так были одеты примкнувшие к восстанию мелкие чиновники из имений и городов, студенты, оставившие свои университеты, дети небогатых арендаторов, малоземельная и безземельная шляхта.

Ведь еще осенью решили Кастусь и Валерий превратить усадьбу Савелия в один из надежных пунктов сбора повстанцев. Второй пункт был оборудован неподалеку от Соколки. Туда Валерий намеревался перевести весной свою школу.

Каждый день после завтрака все повстанцы, собравшиеся у Савелия, выходили за усадьбу на просторную вытоптанную поляну, где летом был у лесника огород и сенокос. Там стояли соломенные чучела и деревянные кони. И отставной поручик Завистовский, близкий друг Врублевского, учил тех, кому предстояло сражаться за свободу, лихо и без промаха колоть эти чучела пикой, рубить их косой, наносить удар кинжалом именно туда, где должно быть сердце, резво бросаться в атаку с топо-

ром и вилами. Упражнения на деревянных конях вырабатывали поворотливость и ловкость. Поручик Завистовский хорошо знал военное дело и старался научить повстанцев всему тому, что могло пригодиться им в бою.

Язэп тоже не пропускал военных занятий, хотя был самым младшим изо всех. Он старался, как только мог, чтобы не отстать от товарищей. А Завистовский похваливал его и даже шутил:

— А ну, Язэп, покажи дядьке Сидорчуку, где у коня хвост, а где грива!

И, разбежавшись, Язэп бросался на деревянного коня и перепрыгивал его.

— Мне бы его годы...— оправдывался Сидорчук или другой немолодой повстанец, которому и в самом деле нелегко было сделать то, что запросто удавалось Язэпу.

Было у Язэпа и любимое занятие — букварь. Приезжая время от времени к Савелию, Феликс понемногу учил его грамоте. Наука нелегко давалась Язэпу. За всю зиму он успел только кое-как запомнить буквы. А когда дошло до слогов, Феликс стал приезжать реже. Но зато появились в усадьбе другие грамотные люди. За неимением книг для чтения они перелистывали букварь, а Язэп подсаживался к ним и, расспрашивая обо всем, по сути дела, брал все новые и новые уроки. И вскоре он читал уже слова под рисунками на первых страницах букваря: «мама, му-ха, су-хо, ка-ша, Ма-ша, мы-ло, ши-ло...» Читал и радовался, что делает это сам, без посторонней помощи. И когда однажды появился Феликс, Язэп прочел ему по складам почти всю первую часть букваря.

— Молодчина! — похвалил его Феликс.— Если так дальше пойдет, скоро сам книги будешь читать.

— Вот бы мне «Мужицкую правду» прочесть,— вздохнул Язэп.— Но ведь в ней буквы не такие, как в букваре.

— К сожалению, не такие,— согласился Феликс.— А чтобы их выучить, нужна еще одна зима. Но где ее возьмешь? Скоро такое начнется, что не до букварей будет...

Что имел в виду Феликс? Этого Язэп не знал. Знал другое: пока совершают повстанцы нападения на воинские гарнизоны городов и местечек лишь изредка, лишь кое-где. Наибольший переполох в стане врага наделали отряды Рогинского, Сангина и Рыльского. После неудачного боя возле местечка Семятичи они снова собрались

в один большой отряд и опять начали действовать в южных волостях и уездах губернии. Объединенный отряд пополнялся и рос. В середине февраля сделал он вылазку на уездный город Пружаны, захватив из местного цейхгауза все оружие и порох, а из казначейства — все деньги. Затем, не дойдя до Кобрина, Сангин с Рыльским двинулись на запад от Белостока, а Рогинский — на юг, в Полесье. Но на этот раз повстанцы потерпели поражение. Царский полковник Вимберг нагнал Сангина и Рыльского под Бельском и нанес им внезапный сокрушительный удар. Сангин погиб в бою, а Рыльский попал в плен. Трагически закончился и поход Рогинского: его отряд окружили казаки, а сам он тоже попал в руки врага.

Это была первая крупная неудача. Вслед за нею пришла весть о второй.

Эразм Заблоцкий со своими товарищами подготовил в самом Гродно отряд молодых повстанцев, который предполагалось отправить поездом в Поречье, чтобы там присоединить к отряду Людвика Нарбута. Операция эта была поручена самому надежному из повстанцев-железнодорожников — начальнику станции Левону Кульчицкому. Темной, безлунной ночью сто пятьдесят вооруженных повстанцев бесшумно рассредоточились по товарным вагонам. Машинист Винтер подал паровоз. Но он не был повстанцем и, узнав, кто в вагонах, что-то шепнул своему помощнику, и тот на ходу поезда отцепил вагоны. Сам Винтер спрыгнул с паровоза и бежал. На паровозе осталось человек десять повстанцев во главе с Кульчицким.

Эразм Заблоцкий глубоко переживал эту неудачу. Он так надеялся на Кульчицкого.

Однако, пожурив своего друга Эразма за легкомыслие, Валерий тут же успокоил его: ведь и полководцы ошибаются. Надо готовиться к реваншу.

И вот однажды, когда уже отшумело половодье и на полях проклюнулась первая травка, Валерий приехал в усадьбу лесника. Язэп не сразу узнал его: на серьезном, даже немного строгом лице Врублевского не было ни кудрявой бороды, ни усов. Да и одет он был совсем не так, как когда-то в Соколке, а как простой крестьянин.

— Ну, как живешь, Язэп? — спросил Валерий.

— Хорошо!

— Не скучаешь без своего пана?

Язэп весело рассмеялся:

— Пускай о нем черти в болоте скучают!

Валерий достал из серебряного портсигара папиросу.

— Курить не научился?

— Нет. Да и нечего здесь курить, если бы даже захотел. Савелий не курит, и нет у него табака.

— А мох? Его кругом вон сколько! Мои ученики курят цигарки из моха, да так, что дым коромыслом.

— Мох горький. От него в горле першит.

— Пробовал?

— Ага.

Валерий обошел хозяйство Савелия. Побывал и на поляне, где поручик Завистовский продемонстрировал, чему научились повстанцы.

Зная Врублевского как превосходного стрелка из револьвера, Завистовский попросил его показать свое искусство.

— А не услышит нашей стрельбы тот, кому не следует слышать? — осведомился Врублевский.

— Нет, это исключено,— заверил его Завистовский.

Тогда Валерий согласился, но с условием, что вместе с ним будут стрелять все желающие: каждому по одному патрону, потому что патроны надо беречь.

Желающих оказалось человек десять. Был среди них и Язэп. Раньше ему приходилось стрелять только из одностволки Савелия. Успехи его были невелики, но он считал, что дело это несложное. А вот револьвер — совсем другое. Язэп не раз видел его у помещиков и офицеров. Но в руках еще никогда не держал.

Валерий взял чистый лист бумаги, черным карандашом нарисовал на нем небольшой круг и повесил на дерево. Затем отмерил от дерева тридцать шагов и сказал:

— Цель для револьвера дальняя, но зато можно хорошо проверить и руку, и глаз.

Он зарядил свой револьвер и протянул его шляхтичу Пшибыльскому, который стоял в шеренге первым. Тот долго целился, пока решился наконец нажать курок. Грянул выстрел. Завистовский подбежал к дереву.

Кто-то пошутил:

— Пан Пшибыльский небось в самый пуп угодил.

— А может, только зря ворон спугнул. Гляди вон, как раскричались.

Завистовский внимательно осмотрел бумагу и развел руками.

Пшибыльский помрачнел и отошел в сторону.

— Так бывало и у меня, когда стрелял первый раз,— утешил его Валерий.— Револьвер — не ружье. Его к плечу не прижмешь.

Второй стрелок тоже послал свою пулю невесть куда. И третий, и четвертый. Остальные, видя это, стрелять отказались. В самом деле: стоит ли понапрасну тратить патроны своего начальника!

— Далековато,— сказал кто-то из стрелявших.— Вряд ли и вообще можно попасть с такого расстояния.

— Так вы же в небо палили,— посмеивались нестрелявшие.

Все ждали самого главного выстрела. Заряжая револьвер, Валерий немного волновался: а что, если и он в небо пальнет? Впрочем, с ним уже давно такого не случалось...

Когда он выстрелил, следом за Завистовским к дереву бросились все.

— Есть! — радостно закричал поручик.— В самом центре! — И он ткнул пальцем туда, где был след пули.— Поздравляю!

— Поздравляем, поздравляем! — подхватили все.— С такой меткостью не пропадешь!

Валерий тоже осмотрел мишень.

— Ну, кто еще хочет попытать счастья?

Все вежливо отказались. Язэпу очень хотелось хотя бы подержать пистолет в руках. Но он постеснялся сказать об этом Валерию. Ладно уж, как-нибудь в другой раз.

После обеда Валерий собрал повстанцев во дворе и объявил, что отряд снимается с места. Приказано следовать под Белосток, где сосредоточиваются основные силы трех уездов — Сокольского, Бельского и Белостокского. Отряд будет останавливаться в деревнях и селах, читать крестьянам манифест Временного правительства и наделять их землей. Боевых стычек избегать. Но если удастся, желательно пополнять боеприпасы. В усадьбе Савелия останется ее хозяин и Язэп Волович.

Язэпу совсем не хотелось расставаться с Петрусем и новыми своими друзьями. Ему казалось, что Валерий незаслуженно обидел его. И когда все стали собираться

в дорогу, он подошел к Врублевскому и угрюмо глянул на него.

— Что, брат, вижу я, недоволен ты моим приказом?..— спросил Валерий.

— Я хочу вместе со всеми...— отвечал Язэп.

— Так мы ведь идем воевать.

— А я что, хуже других? Спросите у поручика. Пусть он скажет.

Валерий задумался.

— Но ты ведь, брат, еще несовершеннолетний!

— Я все умею... Возьмите меня, возьмите... Что я здесь буду делать один?..

— Почему же один? А Савелий? Да и Феликс будет приезжать, и новые люди...

Язэп вот-вот готов был расплакаться, как маленький. Видя это, Валерий сказал:

— Ну ладно. Только будешь в обозе. Кашу варить умеешь?

— А кто ж не умеет? — повеселел Язэп.— Можно собираться?

— Давай. Только смотри Кастусю меня не выдай. Если что, скажешь: я не я и хата не моя. Понял?

— Понял!

И Язэп помчался собирать вещи.

VI

Резиденцией своей выбрал теперь Кастусь Белосток. На это были причины. Белосток, за который Кастусь почти целый год боролся с Варшавой, наконец присоединился к Гродненской губернии. Вместе с ним присоединились южные уезды — Брестский, Пружанский и Кобринский. Тамошних революционеров Кастусь не знал. Нужно было как можно скорее познакомиться и объединиться с ними. К тому же Белосток, как наиболее удобное место для штаба, выбрал местом своего пребывания и военный начальник воеводства Онуфрий Духинский.

Остановился Кастусь на квартире Максима Потапчика, который был очень рад гостю, хотя все еще никак не мог простить ему обиды за то, что набирать второй и четвертый номера своей газеты пригласил он наборщика из Гродно. «Да я, дядька Максим, родственников твоих

пожалел,— шутя, оправдывался Кастусь.— Как бы следом за бабкой не пришлось бы хоронить кого-нибудь помоложе...» В самом же деле действовал он так из предосторожности: частые выезды Максима из дому могли вызвать подозрения, а это было бы уже прямой угрозой типографии.

С первого же дня Кастусь с головой ушел в работу. Организации, которую прошлой осенью оставил он в Гродненской губернии, уже не было. Из друзей Кастуся уцелели немногие. Валерия заменили Духинским. Того и гляди, доберутся и до Эразма Заблоцкого. Поредели ряды единомышленников Калиновского в уездах и округах: их места заняли белые или те красные, которые успели побелеть.

Кастусь просмотрел список руководителей Гродненского уезда: уездный начальник — помещик Сильвестрович, военный референт[1] — помещик Войсятич, референт-казначей — помещик Ромарь, референт по наделу крестьян землей — помещик Каминский, референт путей сообщения — помещик Завистовский, референт по опеке — помещик Богатко. И только один начальник города Гродно не помещик, а врач Цехановский. Не маловато ли одного доктора на целую свору помещиков? Такая же картина и в окружных организациях: помещик на помещике сидит и помещиком погоняет. Можно ли поверить, что все эти помещики наделят своих крестьян землею, дадут им волю и равные с собою права, как говорится об этом в манифесте Временного правительства?

Что же делать? Бросить все на произвол судьбы? Нет, не таков был Кастусь, чтобы уйти без борьбы. Сильны и неколебимы были его надежды на будущее. Он, казалось, уже видел завтрашний день не в мечтах, а наяву. Да и жил-то он не нынешним днем, а только грядущим. Искренне верил в него и ждал, как ждут солнца после долгого ненастья. Нет, нет, он не изменит своим убеждениям, что бы там ни случилось! И он будет бороться, пока бьется сердце!

Здравый смысл подсказывал Кастусю, что не все еще потеряно. Нужно только взять себя в руки и начать действовать.

---

[1] Референт — здесь: заведующий отделом губернской или уездной организации.

И Кастусь отправился к Духинскому.

— Господин военный начальник! — сказал он ему.— Разрешите мне, как политическому комиссару воеводства, дать вам один практический совет.

Духинский оторвался от карты губернии, которую он внимательно рассматривал, и ответил вежливо:

— Пожалуйста, господин комиссар. Я вас слушаю.

— Я много думал в последнее время,— сказал Кастусь,— и пришел к твердому убеждению, что вам одному будет трудно руководить военными делами губернии. Она велика, очень велика. А вы здесь человек новый...

Духинский насторожился. Добродушное полное лицо его с пышными седыми усами помрачнело.

— То есть вы против моего назначения? Но ведь это компетенция Варшавы...

— Что вы, что вы, господин Духинский! У меня и в мыслях этого не было. Упаси боже!

— А как же вас понять?

— Я только для пользы дела хочу посоветовать вам назначить начальником своего штаба, то есть первым своим помощником, Валерия Врублевского, вашего предшественника. Я хорошо знаю его как человека незаменимого в военных делах.

— А что скажет виленский Отдел? Особенно Дюлеран?

— Я думаю,— сказал Кастусь,— это дело ваше. Здесь вы вольны поступать, как найдете нужным. В конце концов, вас прислала сюда Варшава, а не Отдел. К тому же речь идет только о помощнике. А лучшего помощника вы не найдете.

Духинский некоторое время молчал, поглаживая свои пышные усы, потом сказал:

— Я подумаю.

— Пожалуйста, пан воевода. Подумайте. И серьезно подумайте. Это очень важно.

На следующий день Духинский вызвал Кастуся и сказал, что он согласен принять его предложение.

Это был первый и, пожалуй, самый важный камень, который Кастусь сумел заложить в фундамент новой военной организации своей родной Гродненской губернии. Валерий оставил Соколку — на этот раз навсегда — и начал срочно собирать надежных людей в отдельный отряд.

Теперь надо было спасти для организации Эразма Заблоцкого. Перед отъездом на родину Гейштор долго поучал Кастуся, что он должен делать и каковы его права, и вынудил Калиновского дать слово, что он будет подчиняться Варшаве и Отделу. Особенно нажимал Гейштор на мир между сословиями. Не дай бог обидеть кого-нибудь из ясновельможных панов-землевладельцев! Поскольку и деньги и питание восставшим дают именно они, то именно они и должны руководить восстанием. Разве уважающий себя богатый помещик станет подчиняться каким-то шляхтичам-голодранцам или никому не известным мелким чиновникам вроде Эразма Заблоцкого и Ильдефонса Милевича!

Кастусь молчал. Он решил больше не портить отношений с Гейштором: иначе организацию не спасти.

Гейштор настаивал, чтобы гражданским начальником воеводства был назначен помещик. Ну что ж, помещик так помещик... Смотря какой. Кастусь узнал, что под Брестом живет помещик Гофмейстер, бывший царский узник и каторжанин, выступавший против царя еще тогда, когда Кастусь был ребенком. Максим Потапчик, который хорошо знал Гофмейстера, говорил, что он и теперь остался таким же вольнодумцем, каким был в молодые годы. Правда, одолевают его болезни и старческая нерешительность, но человек он безусловно честный и на предательство, как другие помещики, не пойдет.

И Кастусь отправился к Духинскому, чтобы предложить кандидатуру Гофмейстера на должность начальника воеводства.

На этот раз Духинский сразу же согласился с новым представлением Кастуся. Так старик Гофмейстер стал начальником Гродненского воеводства, а его наместником по северной части губернии, а заодно и по Бельскому и Сокольскому уездам был утвержден Эразм Заблоцкий.

Дошел черед и до уездов. Прежде всего интересовали Кастуся южные уезды, где он еще не бывал. И он решил заложить бричку, которую вместе с молодым буланым конем подарил ему новый гражданский воевода Гофмейстер.

И тут вспомнил Кастусь о своем старом друге Язэпе Воловиче. Вот кто поведет его бричку по гродненским дорогам! Вот кто нужен ему сейчас!

Узнав, что Валерий со своим отрядом находится в лесу около имения Крузенштерна, Кастусь сел в бричку и поехал туда, надеясь найти там Язэпа.

Акцизному чиновнику[1] Константину Черноцкому, за которого, пользуясь фальшивым паспортом, выдавал себя Кастусь, разрешалось ездить по всем имениям и корчмам, где гнали и распивали водку: казна ревниво следила за тем, чтобы ее не обманывали помещики-винокуры и корчмари, потому что с каждого ведра или бутылки спиртного брала она свою государственную дань — акциз. Так что роль царского чиновника была для Кастуся самой удобной. Пускай жандармы гоняются себе на здоровье за дворянином Константином Калиновским. А он, акцизный контролер Черноцкий, знать этого дворянина не знает и ведать не ведает.

Правда, шпионы Лелякова, по-видимому, что-то пронюхали, во всяком случае, у них есть, наверно, кое-какие сведения, и он не так «чист», как в прошлом году, когда разбрасывал «Мужицкую правду» по дороге из Слонима в Волковыск. Ведь в Гродно и Вильно едва ли не на каждом углу висят объявления о розыске Кастуся Калиновского, хотя и со старым его словесным портретом: роста среднего, брюнет, усы черные, от роду лет около 36... Глядя на эти объявления, Кастусь каждый раз улыбался: попали пальцем в небо! Какому-то жандарму спросонок или с пьяных глаз показалось, что он брюнет, что у него черные усы и что он гораздо старше, чем на самом деле. Вот уж спасибо ему за это! Темно-русый Кастусь, которому в январе нынешнего, 1863 года пошел двадцать шестой год, мог свободно разгуливать под носом у самых ретивых филеров.

Беспокоило его другое: в Вильно начались уже аресты... Сдержат ли арестованные клятву не выдавать своих друзей и знакомых по организации?

Кастусь выехал из города утром и часа через три добрался до имения графа Крузенштерна.

Ранняя весна вступила уже в свои права, луга зазеленели, а в лесах не утихало щебетанье птиц.

Кастусь любил весну. Она ведь каждый день прино-

---

[1] Акцизный чиновник — чиновник, занимающийся сбором и выколачиванием налогов на предметы массового потребления — соль, спички, табак, водку.

сит что-то новое, свежее, такое, чего не было еще вчера. Душа радуется, когда видишь первые почки на деревьях и первую листву, слышишь первую кукушку или соловья...

Имение графа Крузенштерна стояло в стороне от дороги, прямо в лесу. Судя по строениям — даже помещичий дом был деревянный и старый,— имение было не из богатых. Двор, куда заехал Кастусь, тоже не отличался роскошью. К тому же не было на нем и порядка: здесь можно было увидеть и какие-то трухлявые колоды, и сломанные колеса, и свиней, которые лениво разгуливали у самого крыльца. Посреди двора высился журавль деревянного колодца. Девушка, похожая на служанку, вытаскивала из колодца ведро с водой. Кастусь спросил у нее, может ли он видеть хозяина имения, и она ответила, что графа нет дома.

— А где же он гуляет, ваш граф?

Оказалось, что граф редко бывает в этом имении — имений у него много, а здесь хозяйство ведет эконом пан Зенович. Кастусь попросил девушку позвать эконома.

Вскоре показался на крыльце невысокий лысый человек в жилете. Кастусь поздоровался, сняв шапку, и сказал, что хорошо знает пана Зеновича и только поэтому осмелился без разрешения въехать во двор.

— Откуда же пан меня знает? — удивился Зенович.— Я пана впервые вижу.

— Вас хорошо знает мой друг Валерий Врублевский,— улыбнулся Кастусь.— А это все равно что я.

И Кастусь назвал свое настоящее имя.

— О! — встрепенулся Зенович.— Так бы сразу пан и сказал. Такой высокий гость! Валерий здесь недалеко. Я пошлю за ним.

Эконом позвал батрака и распорядился выпрячь коня Кастуся и дать ему овса.

Поговорив с экономом о том о сем, Кастусь пошел встречать Валерия. Хотя Зенович и помогал повстанцам, но все же вести при нем разговор с Валерием о делах ему не хотелось.

Встретил он Врублевского неподалеку от леса.

— Ты откуда? — воскликнул Валерий.— Не иначе, с неба свалился! Ты ведь, кажется, к нам и не собирался.

Кастусь объяснил, куда держит путь.

— Я к тебе — за Язэпом. Здесь он?

— Здесь. Вот будет рад! Он уже давно по тебе соскучился.

— Вырос, наверно?

— Вырос, вырос. Солдат хоть куда. Хотел я у Савелия его оставить, а он — в слезы. Вот и пришлось взять с собою.

— И хорошо сделал, что взял. Что ему там, у Савелия? С людьми веселее. Но теперь уж я его заберу. Он ведь так любит лошадей. С ним в дороге не пропадешь. А мне как раз ездовой нужен. Пришли его, пожалуйста, к Зеновичу.

— Э, нет! — хитро усмехнулся Валерий.— Так не согласен. Язэпа отдам тебе, но не даром.

— Что же ты хочешь за него? — рассмеялся Кастусь.

— Побудешь моим гостем в лагере.

— А что,— ответил Кастусь,— и побуду. Ей-богу. Охотно посмотрю на твой отряд. Веди! Не собирался я тебя ревизовать, но уж придется...

— Ишь ты! Значит, не доверяешь?..

— Доверяю, брат, доверяю! Больше, чем себе! — И Кастусь обнял друга.— И надеюсь, что мы с тобою перехитрим всех духинских, вместе взятых!

— Духинский,— сказал Валерий,— старый человек. Если что и знал когда-то, так давно забыл. Ему теперь только на завалинке сидеть, на солнышке греться.

Кастусь притворно нахмурился:

— Ну, ну, не обижай своего начальника!

— Да уж как-нибудь поладим. Как ты с Гофмейстером. Я дипломатии учусь у тебя.

— Однако,— Кастусь перешел на серьезный тон и нахмурился,— не узнаю я нынче дела наших рук.

— Ты о чем? — не понял Валерий.

— Разве о помещичьей революции мечтали мы с тобой?

— Ни в коем случае! Помещики и революция — вещи несовместимые. Революция, как я понимаю, это глубокий переворот во имя великой цели. А какова цель помещичьей революции? Сменить одного тирана другим. Но что делать нам? Не знаю...

— Вот и я думаю об этом. Гейштор со своими прихвостнями все глубже копает яму нашему делу. А «красный» Дюлеран на все это закрывает глаза. Недавно они

сняли с должности начальника Новогрудского уезда доктора Борзобогатого.

— Что ты говоришь?

— То, что ты слышишь.

— Да это ведь честнейший человек и подлинный революционер!

— Да, но, к сожалению, именно поэтому он — бельмо на глазу господ из Отдела. Вот они-то его и заменили. И кем? Помещиком Кашицем.

— Тем самым, в имениях которого в этом году уже дважды секли розгами и плетьми временнообязанных?

— Да. Этот крепостник им по душе. Слышал, что он сказал недавно на собрании помещиков Новогрудского уезда?

— Что же?

— Смысл такой: «Мы, помещики, должны свести революционное движение красных на нет. Иначе нам будет плохо...»

— Ого-го! — возмутился Валерий.— Нет, так нам дела не выиграть!

— А надо выиграть! — решительно произнес Кастусь.— Или хотя бы не проиграть того, что дает манифест Временного правительства. Опираясь на него, мы пойдем дальше своей дорогой. На Вильно теперь мало надежды. Разве только на одного Сераковского. Но боюсь, гейшторы не допустят его к руководству.

— Почему же? Он ведь Варшавой назначен военным воеводой всей Литвы и Белой Руси.

— Из тех, кто его назначил, почти никого не осталось. О Стефане Бобровском знаешь?

— Да... Кто бы мог подумать...

— А он ведь тоже один из самых преданных делу революционеров. Такой же, как доктор Борзобогатый. Да доктору еще повезло: выгнали его с должности, и все. А Стефана, по-видимому, нелегко было выжить из правительства. Пришлось пойти на провокацию, чтобы убить на дуэли. Вот, брат, как оно делается, если кто-нибудь становится поперек дороги таким «патриотам», как графы Чарторыйские, Радзивиллы, Стаженские... Понимаешь, Валерий, мне часто приходит в голову мысль, что прежде, чем добиться настоящей свободы для народа, нам необходимо уничтожить эту гнилую и безнравственную касту, называемую дворянством...

— Мысль интересная,— отозвался Валерий.— Но не слишком ли смелая? Кто же их уничтожит?

— Как кто? Те, кому дворяне не дают жить на свете... Конечно, сделать это нелегко. Но когда я думаю об этом, мне становится радостно...

Отряды Валерия Врублевского и небольшие группы повстанцев, созданные вернувшимся на родину революционером-эмигрантом Брониславом Шварцем и его товарищами в белостокских лесах, были теперь объединены под командованием Духинского.

Когда Врублевский и Калиновский пришли в лагерь, Валерий выстроил отряд на просторной зеленой поляне развернутым фронтом: конники, стрелки и косиньеры [1]. Небольшой обоз разместился за строем, возле самого леса. И когда Кастусь подошел к правому флангу, Валерий резко взмахнул рукою и скомандовал:

— Сми-и-рр-на!

Шеренга замерла. Только посапывали и позвякивали удилами кони.

Быстрым строевым шагом подошел Валерий к Кастусю и, отдав ему честь, отрапортовал:

— Гражданин комиссар воеводства! Повстанческий отряд военного начальника Гродненского воеводства Онуфрия Духинского на поверку выстроен.

— Здравствуйте, граждане повстанцы! — выкрикнул Кастусь.

— Здравствуйте, гражданин воеводский комиссар! — громко, хотя и не совсем стройно ответили повстанцы.

Кастусь двинулся вдоль строя. Время от времени останавливался, приветствуя повстанцев, перебрасываясь с ними одним-двумя словами: кто, откуда, нет ли жалоб на командиров. Затем, возвратившись к стрелкам, стоявшим в середине строя, заговорил полным голосом, чтобы слышали все:

— Граждане! Разрешите передать вам горячий привет от нашего уважаемого воеводы пана Духинского, а также от тех людей из Гродно и Вильно, которые каждый день и час думают о нашем великом деле освобождения родины. Война против царя-тирана, которая, начиная с января месяца, бушует за Вислой и Неманом, перебросилась и к нам на Беларусь и в Литву. Как паводок

[1] Косиньéры — повстанцы, вооруженные косами.

весенний, разливается она и по нашей гродненской земле. Наши братья уже сражаются с врагом не на жизнь, а на смерть, а вы в любую минуту готовы им помочь. Ваш отряд участвовал пока еще только в мелких стычках с врагом. Но и они закалили вас, готовя к предстоящим сражениям. Граждане конники! Граждане стрелки! Граждане косиньеры! Будьте тверды и непреклонны в любой баталии — малой и великой. Как бы ни было нам тяжко, мы завоюем свободу. И вспомнят нас добрым словом дети наши, внуки и правнуки. Тех же, кто изменит нашему святому делу, потомки проклянут и предадут вечному позору. Повстанцы, граждане Белой Руси! Поклянемся же быть верными народу нашему, родине нашей до конца, до последнего вздоха!

— Клянемся! — отозвались все.

— Клянемся!

— Клянемся!

— Поклянемся лучше смерть принять и вечную славу, чем позор и вечную неволю!

И повстанцы снова ответили трижды:

— Клянемся!

— Клянемся!

— Клянемся!

Кастусь подошел к Валерию, который стоял на правом фланге, рядом с конниками, и что-то сказал ему.

Валерий подал команду:

— Отряд, напра-а-во! Правое плечо вперед, шагом ма-а-рш!

Колонна зашевелилась и тронулась.

— Жаль, нет барабана,— сказал Валерий.

— А он нам и не нужен,— ответил Кастусь.— Мы — войско лесное, бесшумное. Это царские солдаты без барабана и шагу ступить не могут.

Колонна промаршировала перед воеводским комиссаром и по команде рассыпалась по лесу.

— А теперь, гражданин воеводский комиссар, приглашаю тебя на солдатскую кашу,— сказал Валерий.— Варил ее, между прочим, твой Язэп.

— О, с удовольствием отведаю! Если только она не березовая.

— Березовая выдается за особые заслуги,— улыбнулся Валерий.— А у тебя их пока еще нет.

После обеда Кастусь выехал из имения Крузенштерна.

На козлах его брички с вожжами в руках сидел счастливый Язэп. А чтобы он имел вид настоящего ездового, Зенович подарил ему красный шарфик для подпояски и сыромятный кнут с легким хлыстом.

VII

Солнце сияло едва ли не как в полдень. Только в низинах пахло уже предвечерней сыростью.

Буланый бежал трусцой, время от времени пофыркивая. Язэп не спускал с него глаз. Ему хотелось поскорее узнать нрав своего нового коня, чтобы понять, как с ним обращаться. Первым знакомством Язэп был доволен: конь был крепкий, молодой и шел ровно, легко, без понуканий и без кнута. Стоило только едва прикоснуться к нему вожжами, как он переходил на рысь. Язэп, однако, жалел гнать его рысью.

Буланый ему понравился, что и говорить.

Стрекач у Савелия тоже конь неплохой, но далеко ему до Буланого! Стрекач уже зубы съел едва ли не наполовину, да и живот у него рыхлый, как тюфяк. Пробежит версту — и задыхается. А этот — подтянутый, шустрый, глазами так и стрижет. Верст пять пробежит без передышки, ни разу не екнув.

Дорогою Кастусь расспрашивал Язэпа, как жил он без него, как зимовал у Савелия. А когда узнал, что Язэп выучил за зиму все буквы и даже кое-что умеет читать, очень обрадовался:

— А букварь небось у Савелия оставил?

— Не-ет,— улыбнулся Язэп.— Я с ним теперь не расстаюсь. В сумке.

— Ну, а в гости к пану Жердецкому больше не собираешься? — неожиданно спросил Кастусь.

И Язэп рассказал, как они с Петрусем всю зиму мечтали побывать в Дроздах, чтобы подкараулить пана или хотя бы Дракулу. Ну, а теперь уже не придется.

— Почему же? — спросил Кастусь.

— Далеко теперь до Дроздов.

— Даль нам с тобою не помеха. Не горюй, побываем еще и у твоего пана. Хотя теперь он уже только бывший

пан. Ты ведь, наверно, знаешь, что сейчас у нас все равны — и вельможный пан, и мужик Степан. Это значит: что Жердецкий, что ты — разницы перед законом нет никакой.

— То перед законом,— поморщился Язэп.— А так, какая мне пан ровня? Или я ему?

Разумный ответ Язэпа понравился Кастусю. В самом деле, этот крестьянский парнишка лучше понимает сословное равенство, чем те, кто составили манифест. Вот если бы они написали, что вся земля и все имущество — как помещичье, так и крестьянское — делятся поровну, такое равенство было бы истинным. Но и то хорошо, что хоть до какого-то додумались. От царя ведь и вообще ничего подобного не дождались...

— Скажи, Язэп, а Петрусь твой что за человек?—снова задал вопрос Кастусь.

Язэп рассказал все, что знал о своем друге. Вспомнил заодно и о дядьке Егоре: его он все еще любит, как родного отца, и очень хотел бы видеть.

— А что, он совсем старый, твой дядька Егор?

— Нет. Лет пятьдесят. Его паны Жердецкие тоже мальцом к себе забрали.

— А не позвать ли твоего дядьку Егора к нам? Как думаешь?

— Он далеко. Да и выпустили ли его из острога?

— Ничего, мы его из острога выручим. Он, наверно, мог бы у нас неплохим командиром стать. А?

— Не знаю.

— Как так «не знаю»?

— Он солдатом не был.

— Ну, это не беда. Солдатами и мы с тобой не были. А воевать будем не хуже царских гвардейцев. Так или не так?

— Не знаю...

— А я знаю,— уверенно сказал Кастусь.

Солнце уже садилось, когда Кастусь с Язэпом увидели справа от дороги на широком поле десятка три пахарей.

— Помещичье поле пашут. Видать, под яровые,— сказал Язэп.

— Почему помещичье? Может быть, свое...— заметил Кастусь.

— Нет, не свое. Вон и тивун с ними... Злой, видать, как Дракула.

— Пожалуй, ты прав. Да, но если помещик нанял пахарей, то зачем же ему ставить над ним надсмотрщика? А ну-ка, останови Буланого.

Подъехав поближе к пахарям, Язэп потянул вожжи к себе:

— Тпр-ру-у!

Буланый остановился.

Кастусь спрыгнул с брички, подошел к тивуну — пожилому усатому человеку в широкополой соломенной шляпе:

— Чье это поле, пан тивун?

Тивун смерил незнакомца острым недоброжелательным взглядом:

— Поле моего господина... А вам-то что?

— А как же зовут-то вашего господина, если не секрет?

— Какой там секрет! — проворчал тивун, отвернувшись.— Его вся губерния знает. Граф Стаженский.

— Ну,— сказал Кастусь,— такого именитого помещика не только губерния — все знают. Даже Варшава. Он ведь наш предводитель дворянства.

Тивуну, видимо, понравились эти слова, и он повернулся лицом к любопытному путнику.

— У графа нашего не одно имение...

— Еще бы! — подхватил Кастусь.— Богаче его у нас, пожалуй, один только Радзивилл. А скажите, пожалуйста, пан тивун, кто эти люди? Граф их нанял, наверно?

Тивун не ответил: его внимание привлек один из пахарей, направлявшийся к нему.

— Ты что? — закричал на него тивун еще издали.

Старый крестьянин, босой, в длинной посконной рубахе и таких же брюках, сказал, низко кланяясь:

— Пан тивун, не позволите ли немного раньше работу кончить?

— Это почему?

— Суббота ведь ноне, паночек. Да и устали мы. И лошади тоже уж на ногах не стоят.

Тивун глянул в сторону леса, над которым повисло солнце.

— Рано еще кончать,— строго сказал он.— Борозды хорошо еще видны. Ступай, ступай!

— А что, старый,— остановил пахаря Кастусь,— небось с паном-то дотемна работать договорились?

Старик угрюмо глянул на Кастуся:

— Кто же договаривался? Барщину отрабатываем.

И пошел прочь.

— Погоди, старый, погоди,— сказал Кастусь.— О какой барщине ты говоришь? Ее даже сам царь отменил недавно для нашей губернии!

— Царь отменил, а пан тивун не отменил,— бросил старик на ходу.

Тивун пошел следом за ним.

— Пан тивун, это правда? — крикнул Кастусь.

Тивун даже не обернулся.

Кастусь помрачнел.

— Поехали,— сказал он Язэпу.

Встреча с тивуном и пахарями произвела на Кастуся такое тяжкое впечатление, что он долго не мог прийти в себя. Вот ведь что! На бумаге — одно, а на деле — другое. Граф Стаженский, который прекрасно знает о манифесте Временного правительства и о весеннем царском указе, по-прежнему как ни в чем не бывало заставляет крестьян отрабатывать барщину. И, сидя в Вильно, занимается делами восстания... Двуликий Янус, и только! Таких революционеров надо вешать на первом столбе.

И тут вспомнил Кастусь, что давно уже не занимался своей «Мужицкой правдой». Все некогда. Враги же тем временем не дремлют: такой шум подняли после царского указа, что хоть уши затыкай. Восстание приписывают помещикам: они-де зачинщики его и организаторы. Хотя на самом-то деле готовы восстание в ложке воды утопить. Как же бедному мужику разобраться в этом бедламе: царь кричит, что помещики выступают против отмены барщины, потому, мол, и мятеж подняли, а такие, как граф Стаженский, все еще никак не желают расстаться с барщиной. И попробуй теперь объяснить мужику, что Временное правительство еще в январе дало ему волю и полное равенство с помещиками. Да он разве поверит? А если не поверит, то как же вести его за собою?..

Вскоре Кастусь с Язэпом приехали в село, расположенное на высоком, окруженном лесом холме. Село это состояло из одной-единственной улочки с покосившимися курными избенками неведомо какой давности, с одним-двумя оконцами, в которых вместо стекол были натянуты бычьи или свиные пузыри. На десять или два-

дцать дворов приходился один полуистлевший колодец. Словом, село это было такое же, как почти все села, где побывал Кастусь.

— Эй, дядька, есть у вас тут корчма? — спросил Кастусь у первого встречного мужика.

— Есть, барин, есть. Как же без корчмы-то! Во-он там,— и, низко кланяясь, указал на другой конец села.

— А какое село ваше,— спросил Кастусь,— помещичье или казенное?

— Помещичье,— отвечал крестьянин, протирая кулаком красные, слезящиеся глаза.

Он был, видимо, еще не стар, за небритой рыжей щетиною угадывалось лицо мужчины средних лет. Кастусь часто видел в деревнях и селах людей с такими вот слезящимися глазами: курные хаты и лучины были тому виною. Он присмотрелся к крышам ближайших хат: нигде не было хотя бы плохонькой глиняной трубы. Как же велика еще сила привычки! Ведь соорудить трубу — дело не хитрое. Нет, пора объявить беспощадную войну проклятой косности! А для этого нужно прежде всего втолковать мужику, что он человек.

Пока думал об этом Кастусь, подошли к бричке еще какие-то крестьяне: хотелось послушать, о чем таком разговаривает барин с их односельчанином. Не новости ли какие привез? Сейчас каждый день можно чего-нибудь ждать: вон что на свете-то творится.

— А какому помещику принадлежало ваше село? — спросил их Кастусь.— Не графу ли Стаженскому?

— Ему, ему,— закивал головою первый мужик.— Мы графские.

— Были графские. А теперь?

Мужики переглянулись между собой: они не могли понять, о чем речь.

— Мы и были графские, и есть,— подтвердил другой мужик.

— Ну, а воля-то разве до вас не дошла?

— Какая же нам воля? Не порет нас ноне розгами панский тивун, вот и воля вся.

— А что барщину отменили, знаете?

— Кто же ее отменил? Когда то еще будет...— загомонили мужики.

— Как кто? — удивился Кастусь.— Три месяца уже, как Временное правительство сделало вас свободными

и передало вам ваши наделы без какого бы то ни было выкупа. Да вы, видать, и не слышали об этом!

Мужики развели руками: нет, не слышали.

— В волости сказали, что недавно царь барщину отменил и выкуп за наделы уменьшил,— сказал мужик со слезящимися глазами.

— Так почему же вы все еще считаете себя графскими? — спросил Кастусь.

— А чьи же мы?

— Ничьи. Свободные люди. И село ваше уже не графское.

— Если бы так оно было...

— Скажите: а вон там пашут графское поле не ваши ли мужики?

— Наши, барщину отрабатывают. А вчера мы там пахали.

— Как же так, мужики? — вспыхнул Кастусь.— Даже сам царь, как вы говорите, навсегда отменил барщину, а вы все никак не можете с нею расстаться? Неужели она вам так нравится?

— А попробуй не выйди на барщину! — зашумели мужики.— Тивун тебя мигом скрутит в бараний рог.

— Так вы ведь говорите, что он больше не сечет вас розгами.

— Сечь-то не сечет. Оно верно. Да он ведь, коли захочет, то и без розог со свету сживет. Или с сумою по миру пустит. Да что мы, мужики, против графа! Ничто. Приезжал он недавно, мы и видели: в волости все перед ним ниже травы...

— Пан как был паном, так и остался,— сказала высокая худая женщина, которая тоже присоединилась к мужикам, окружившим Кастуся.

— А что ему! — подхватили мужики.— Лихо его не берет.

— Когда граф-то наш приезжал,— снова заговорила женщина,— мы, бабы, на огороде работали. День был жаркий. Пот все глаза повыел. А тут сажалка [1] рядом. Вот Марыля Кравцова и говорит: «Бабоньки, давайте хоть немного лицо сполоснем». Подошли мы к сажалке и давай умываться. Увидел это тивун. Подбегает. Да как закричит! Ах ты, ах ты! Что же это мы наделали! Поди ж

---

[1] Сажáлка — небольшое озеро, в котором разводят рыбу.

ты — в этой сажалке сам граф купается! Прогнал нас тивун, а батракам приказал воду из сажалки спустить: она, вишь, пóтом мужицким пахнет! А вы говорите — пан мужику ровня. Где там!

Мужики разговорились, и Кастусь узнал от них обо всем, что его интересовало. О повстанцах они ничего не сказали: не знаем, мол, и не слышали даже. «Знают небось,—думал Кастусь,— а чужому человеку, тем паче барину, не скажут». И такая мужицкая конспирация его радовала. Ему очень хотелось оставить им на память манифест или даже прочесть его вслух. Но сдержался, вспомнив, как разбросал когда-то при людях по дороге из Слонима «Мужицкую правду» и как едва не попал из-за этой своей неосторожности в руки жандармов. Сейчас рисковать было нельзя. Впереди еще длинный путь, и он, господин акцизный ревизор, очень уж приметен в своей бричке.

И Кастусь поехал дальше, в корчму, где намеревался остановиться на ночлег.

VIII

После отъезда Кастуся отряд Духинского двинулся в сторону Слонима. Туда должны были подтянуться и все остальные отряды и группы повстанцев Гродненской губернии. Так приказал Духинский.

Валерий понимал, что объединенные силы могут нанести врагу серьезный удар, но опасался, как бы Манюкин не разгадал замысел Духинского.

— Риск — благородное дело! — самоуверенно заявил Духинский, когда Врублевский сказал ему об этом.— Зато в случае удачи мы сможем разгромить лучшие части Манюкина и надолго вывести их из строя. А это сразу поднимет наш престиж.

— Удача — дело ненадежное,— скептически ответил ему Валерий.— Повезет — будет, а не повезет — не будет. Куда вернее надеяться не на удачу, а на разумный расчет. Мы ведь не регулярная армия. Наша тактика должна строиться на свободном маневрировании в зависимости от быстро меняющейся обстановки.

Но Духинский на этот раз не внял его советам.

С первых дней своего воеводства он ежедневно посы-

лал рапорты в Варшаву, в который раз подробно описывая скучные и однообразные будничные дела. А хотелось ему сообщить о блистательных победах. Потому-то, забыв о реальных возможностях, и мечтал он о крупной баталии.

Валерий оказался прав: Манюкин сразу раскрыл тайну Духинского.

Как же это ему удалось?

С помощью мирных крестьян, не примкнувших к восстанию, которых хитрый и коварный царский генерал боялся больше, чем повстанцев, и всячески старался не только оторвать от повстанцев, но и сделать своими приспешниками. Он учитывал, что никто лучше мужика не выследит чужого человека с ружьем или пикой. А чтобы этот мужик возненавидел повстанца и доносил о нем властям в ту самую минуту, как только увидит его, Манюкин с помощью местных чиновников вдалбливал ему в голову, что восстание — дело помещиков, а не мужиков. Помещики поднялись против царя-батюшки за то, что он отменил крепостное право и заботится о своем православном народе, как родной отец. Если помещики возьмут верх, то сразу же вернут барщину и все старые порядки. А чтобы этого не было, каждый крестьянин должен встать на защиту себя и своей деревни от помещичьих повстанцев. Так вот и возникли сельские караулы, которыми командовали солдаты и унтер-офицеры, присланные Манюкиным.

Что мог Кастусь и его товарищи противопоставить манюкинской лжи? Разве только манифест Временного правительства. Но этого было мало. Мужик знал помещиков как облупленных и не верил их обещаниям.

То, что так беспокоило Кастуся еще до восстания, поставило под угрозу все дело.

Стоило отрядам повстанцев двинуться в поход, как Манюкин через своих караульных тут же узнал, куда они идут, какова их численность и вооружение. И поэтому генерал послал свои отряды не по следам повстанцев, а им наперерез и как раз в такое место, где удобнее и выгоднее было дать бой: в лесистые окрестности деревень Валилы и Соколда.

Когда отряд Духинского подошел к лесу у деревни Валилы, на него неожиданно посыпался град пуль. Не поняв, какая перед ним сила, Духинский решил атаковать.

Валерий с трудом уговорил его не делать этого: атаковать хорошо вооруженных солдат на такой удобной для них позиции было бы безумием. Духинский нехотя согласился, и Валерий отвел отряд в сторону от Валил, к Сокол-де. Но и там ждали его каратели. На этот раз отступать было некуда, и Валерий согласился с Духинским, что нужно принять бой.

Первыми бросились в атаку конники, которых вели перешедшие на сторону повстанцев офицеры из Белостокского гарнизона. Конники смяли и рассеяли по лесу передние шеренги солдат, но в глубь леса пробиться не смогли и повернули обратно. Не удалось прорваться сквозь лес и стрелкам с косиньерами. Нагрянули солдаты из-под Валил. Теперь силы Манюкина и повстанцев оказались далеко не равными. Повстанцы понесли немалые потери, и Валерию с Духинским ничего не оставалось, как поспешно отступить под сильным огнем врага...

Неудача остановила продвижение отряда Духинского. Но ненадолго. Через две недели отряд собрался снова. И опять двинулся к Слониму, но на этот раз уже с большими предосторожностями.

С переменным успехом пробивались в район Слонима и другие отряды. Из-под Гродно вышел отряд отставного полковника Александра Лянкевича, или Ляндера, как по-дружески называли его повстанцы. Сперва Ляндер направился на восток, намереваясь собрать и присоединить к себе мелкие группы повстанцев, чтобы затем вместе с ними идти на юг. Но уже у местечка Озеры отряду преградили путь солдаты Манюкина. А дальше повторилось то же, что было с отрядом Духинского. Правда, Лянкевичу немного повезло: он сумел довольно легко вырваться из неожиданно навязанного ему боя и довел остатки своего отряда до Волковыска, где присоединился к отрядам Густава Стравинского и Феликса Влодака. Из Новогрудка привел свой отряд Витольд Миладовский.

Ввиду того, что отряд Духинского задержался в дороге, команду над объединенными отрядами взял на себя старший по чину Александр Лянкевич. Он вывел отряды за Слоним, в Миловидовские леса, и выбрал для них позицию, которая казалась ему наиболее удобной и выгодной. Лянкевич знал, что долгой передышки Манюкин ему не даст и что отряд Духинского может и не

успеть к началу боя. И он очень обрадовался, когда в гости к повстанцам приехали Кастусь с Эразмом.

Едва ли не весь последний месяц Кастусь провел в дороге. Где он только не побывал! Язэп прокатил его по всем южным уездам. И только после этого длительного путешествия попали они в Гродно. Дорога вконец вымотала их обоих. Не сдавался один только Буланый, хотя и похудел за время пути.

Но Кастусь не думал о себе. Больше тревожили его нелады едва ли не во всех организациях губернии — и уездных, и окружных. Все шло не так, как нужно. В отряды вступали только десятки и сотни людей. А он ведь мечтал о тысячах, десятках тысяч... Удрученный и помрачневший, Кастусь иной раз терял самообладание и наскакивал с упреками и обвинениями на того или другого начальника, а потом горько каялся. Встретившись с Эразмом, даже и ему наговорил колкостей. Эразм считал, что его дело — гражданская власть. А Кастусь этого и слышать не хотел: можно ли сейчас, в такое горячее время, отрывать гражданские дела от военных!

Кастусь болел за каждую мелочь и не мог себе представить равнодушным кого-либо из своих соратников. Узнав от Эразма, что волковыский уездный начальник доктор Мечислав Глиндич давно уже не подает никаких признаков жизни и деятельности, а Слонимский — арестован, спросил своего друга:

— А что ты сделал для того, чтобы их заменить?

Эразм виновато развел руками:

— Связь с уездами прервана. Вестей оттуда нет никаких...

Кастусь резко оборвал его:

— Знаешь ли, когда гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе.

— Все времени нет,— краснея, отвечал Эразм.— Приходится ведь в дорожную комиссию ходить.

Кастусь горячо обнял его:

— Вот что, братец: комиссию свою брось. Теперь наша главная комиссия — на поле брани против генерала Манюкина. Садись-ка со мною в бричку, и поехали! Под лежачий камень вода не течет.

Эразм поручил воеводские дела своему секретарю Ильдефонсу Милевичу и уехал с Кастусем.

Волковыск им пришлось оставить в стороне: дороги были заполнены солдатами и пикетчиками Манюкина. Да и в Слониме появляться тоже было рискованно. И друзья остановились в нескольких километрах от города, в имении помещика Ягалковского — одного из окружных начальников. Туда же Кастусь вызвал соседа хозяина Осипа Стравинского и выдал ему номинацию на должность начальника Слонимского уезда вместо арестованного доктора Симановича. Помещик Стравинский охотно согласился вступить в должность и дал Кастусю и Эразму слово верой и правдой служить делу восстания. Кастусь напомнил, что он как воеводский комиссар будет строго следить, чтобы все повстанцы, которые прибывают в уезд или проходят через него, были накормлены и одеты, а крестьянам чтобы повсюду был прочтен манифест Временного правительства и чтобы в простой и доступной форме было им растолковано, какие выводы из манифеста могут и должны они сделать. Помещиков, которые будут служить Муравьеву, а не повстанцам, карать беспощадно, так же как и всех прочих изменников.

В те дни новый генерал-губернатор Михаил Муравьев еще только принимал дела от своего предшественника Назимова, но недобрая о нем молва успела уже облететь весь Северо-Западный край. Хотя и был он родным братом сосланного декабриста Александра Муравьева и однофамильцем повешенного Николаем I Сергея Ивановича Муравьева-Апостола, все называли его одним из самых жестоких и беспощадных царских генералов. Он говорил: «Я не из тех Муравьевых, которых вешают, а из тех, которые вешают».

Муравьеву-вешателю шел шестьдесят седьмой год, и за свою долгую жизнь успел этот палач неоднократно продемонстрировать царскому дому, на что способен он как верный страж престола. Еще в 1830 году он зверски расправлялся с повстанцами. И вот теперь царь снова дал ему неограниченные карательные полномочия. Назимов, хотя и старался изо всех сил, не смог погасить пламя восстания и вынужден был проститься с Вильно.

Вместо прежнего сатрапа появился новый, еще худший. Что ж: клин вышибают клином. И самая верная и единственная контрмера, думал Кастусь, наконец-то поднять на восстание мужика. Мужик, только он один, может решить спор с царем.

Кастусь высказал эту свою мысль Эразму и попросил, чтобы он, когда вернется в Гродно, разослал соответствующий циркуляр уездным и окружным начальникам.

— Это сейчас очень важно, Эразм! — горячо доказывал Кастусь другу.— Мы уже и так много потеряли. Я все думаю о Зигмунде: храбрейший и умнейший из нас — он стал первой жертвою на поле боя. В чем тут дело?

— Силы неравные,— отвечал Эразм.— Он держался до последнего. А что, если выкупить его? Надо поговорить с Гейштором. Ведь все эти царские прокуроры и следователи — продажные души.

— Боюсь, что не удастся,— сказал Кастусь.— Слишком уж известная личность. Да, кажется, не очень-то горюет о нем Гейштор. Мне кажется порой, что все эти князья и графы вмешались в наше восстание, чтобы задушить его.

— Об этом даже страшно подумать...

Зигмунд Сераковский, о котором говорил Кастусь, стал жертвой белого саботажа. Когда в августе прошлого года он давал согласие стать военным руководителем восстания в Литве и на Беларуси, ему сказали, что восстание будет еще не скоро и что есть еще время к нему подготовиться. И вдруг все изменилось. Со службы Зигмунд вырвался только в конце марта. Подготовить восстание по своему разумению и по своим планам он не смог: оно уже разгоралось. Пришлось вести в бой тех людей, которых ему дали и которых он совершенно не знал. Гейштор послал его в Ковенскую губернию: «Там самая сильная революционная организация в крае. И оттуда открываются широкие пути к центру края — Вильно и на Латгалию с крепостью Динабургом».

Зигмунд поверил своему бывшему однокашнику по университету. Да и как было не поверить? Гейштор ведь сам готовил Ковенскую губернию к восстанию и последнее время почти не покидал ее: менял уездных и окружных, спорил с ксендзом Мацкявичюсом, который собрал свой отряд из одних литовских крестьян. Гейштор хотел подбросить ему десятка два-три дворян из литовской шляхты. Но упрямый ксендз не согласился принять в свой отряд ни одного шляхтича.

Зигмунда и самого влекла к себе Ковенская губерния: она действительно могла стать центром восстания. Ко-

венские леса и непроходимые болота давали широкий простор для маневров и партизанской войны. На побережье Балтики Зигмунд ждал оружия для повстанцев и высадки волонтеров[1] из Франции и Англии. В случае удачи можно было бы перебросить пожар восстания из Ковенской губернии на восточные белорусские и русские губернии.

Но все это пребывало только в светлых мечтах Зигмунда. Когда же дошло до дела, Ковенская губерния оказалась совсем не такой благодатной, какой представил ее Зигмунду старый его друг Гейштор. До приезда Зигмунда Гейштор успел сделать все, чтобы развалить повстанческую организацию красных, а своей новой не создал. Он просто-напросто обманул Зигмунда, надеясь, что Зигмунд в ходе восстания наверстает все упущенное им, Гейштором.

Почти целый месяц Зигмунд водил в бой отряды своих храбрых командиров Мацкявичюса, Колышки, Длусского. Он ловко запутывал свои следы и вводил в заблуждение гвардейские части царского генерала Ганецкого. Но силы его с каждым днем таяли. Ковенская революционная организация ему не помогала, более того: фактически ее и не существовало. Вооружить крестьян было нечем. Высадка волонтеров не состоялась: царскому правительству удалось подкупить капитана корабля. Как могли, вредили Зигмунду и ковенские помещики: караульные следили за каждым его шагом и обо всем доносили Ганецкому, убивали повстанцев и их командиров.

Но все это были лишь первые тяжкие испытания.

Измученные непрерывными переходами и боями, отряды Сераковского остановились в непроходимых Биржанских лесах, чтобы дождаться здесь Мацкявичюса, но внезапно были атакованы Ганецким, которого привели сюда все те же караульные.

Повстанцы сопротивлялись упорно и отважно. Только на третий день удалось Ганецкому их рассеять. Тяжело раненного Зигмунда друзья спрятали в имении помещицы Костелковской, откуда намеревались переправить его за границу. Для этого нужна была повозка с рессорами: Зигмунд был ранен в спину и его нельзя было везти на

---

[1] Волонтёры — добровольцы.

обычной бричке. Но как ни просили Костелковскую друзья Зигмунда, повозки она не дала. Больше того, боясь, что повстанцы возьмут повозку без ее разрешения, помещица поспешила к исправнику, туда, где разместился со своим штабом генерал Ганецкий...

Так попал в руки врага прославленный революционер, близкий друг Чернышевского, Тараса Шевченко и Кастуся Калиновского. Вместе с ним хищная пани Костелковская загубила и Болеслава Колышку, студента Московского университета, воспитанника польской военной школы в Генуе. Он, как и весь штаб Зигмунда, до последней минуты не покидал своего любимого друга.

К вечеру Кастусь и Эразм приехали в имение члена подпольной организации помещика Керсновского, чтобы оттуда попасть в близлежащую деревню Миловиды, в лагерь Лянкевича.

От имения до лагеря было рукой подать, но идти пришлось такими тропами, что, если бы не вел Кастуся и Эразма сам Керсновский, заблудились бы они на первой же версте.

Путники сразу же наткнулись на топкое болото. Но Керсновский мгновенно отыскал среди лозняка и ракит какие-то потайные мостки, так и вздрагивавшие под ногой.

— Неужели и Лянкевича вы вели по этим чертовым мосткам? — спросил Кастусь.

Керсновский весело расхохотался:

— Что вы, господин комиссар! Он потопил бы тут все свое войско. Мы идем напрямик. А Лянкевича я вел по дороге. У него ведь и кавалерия, и обоз.

— Ну, хорошо, а если тою же дорогой пойдет сюда и Манюкин? Что тогда? Западня?

— Западня, да не для всех. Я здесь каждое дерево знаю. Да и зачем Манюкину лезть в это болото? Он пойдет по шоссе. А оно от лагеря довольно далеко. И отделено болотом.

— А если все-таки Манюкин его одолеет?

— Ну, тогда для нашего Лянкевича найдутся у меня такие стежки, которых и лешие не знают.

— А если Манюкин нападет внезапно?

— Наши дозоры сюда и зайца не пропустят.

— Однако мы не зайцы, а никто нас пока не окликнул.

— Потому что я с вами.

Такой глухомани, как здесь, Кастусь, пожалуй, еще не видывал. Лес был гуще самого Беловежья. Казалось, не то что человек — медведь не заглядывал сюда с сотворения мира. Перепрыгивая ежеминутно через сгнившие деревья, валявшиеся под ногами, обходя ямы, наполненные болотной водою, путники вышли наконец на сухой холм и только отсюда увидели меж вековых елей и сосен белые палатки и зеленые шалаши.

— Вот и лагерь,— сказал Керсновский.— Теперь вы уже гости полковника Лянкевича. Вон его дворец.— И он указал на палатку, стоявшую справа.

Возле этой палатки, отгоняя еловой веткою комаров, которые так и висели в воздухе черной тучею, стоял часовой в кителе венгерского покроя и красной конфедератке. Он, видимо, хорошо знал Керсновского, во всяком случае, сообщил ему, как своему человеку, что полковник сейчас на вечернем обходе и скоро вернется.

— Не присоединиться ли и нам к господину полковнику? — предложил Эразм.

— Можно,— сказал Кастусь.— Где же его искать?

Часовой показал, куда идти.

— Тут недалеко.

— На поляне возле смолокурни? — уточнил Керсновский.

— Так точно. Но полковник, наверно, уже кончил обход.

Часовой оказался прав. Не успели гости пройти и нескольких шагов, как за ближними деревьями увидели Лянкевича, идущего в сопровождении своих командиров. Стройный, плечистый, с дочерна загорелым лицом, полковник выглядел богатырем.

Он очень обрадовался гостям.

— Мой штаб,— сказал он, представляя своих спутников.— Влодак, Стравинский, Юндзил, Миладовский...

— Знаю всех,— улыбнулся Кастусь.— Вот только господина Миладовского вижу впервые.— И он крепко пожал руку Миладовского.— Да это и не удивительно: он у нас — пограничный князь.

— Почему же пограничный?

— Виленцы считают его своим, минчане — тоже, а

мы, гродненцы,— тем более. А сам господин Миладовский кому отдает предпочтение?

Миладовский, молодой красивый офицер, шутливо отрапортовал:

— Я, господин воеводский комиссар, разрешите доложить, отдаю предпочтение вам!

— А господин полковник не обидится? — прищурился Кастусь.

— Мы с господином полковником как-нибудь поладим. А сегодня вы у нас самый большой начальник и желанный гость.

— А Эразм?

— Ну, и господин Заблоцкий, конечно...

— Я вижу, господин Миладовский хорошо знает субординацию.

— Да, господин воеводский комиссар.

Бывший прапорщик и член Петербургской офицерской организации, ровесник Кастуся Витольд Миладовский отличался веселым нравом и остроумием. На все был у него свой взгляд, и никогда не покидал его юмор.

— А как поживает доктор Борзобогатый? — спросил его Кастусь.

— Всех проклинает.

— Кого это всех? И меня тоже?

— Ну, у него и без вас есть кого проклинать. Первый — господин Кашиц. Второй — Гейштор.

— Кашиц и Гейштор лишили его должности уездного. А вас за что?

— Не даю ему развернуться,— серьезно ответил Миладовский.— Он готов все вверх дном перевернуть и раздать все имения мужикам, лишь бы только шли они в отряды. Но это уж слишком. А все, что слишком, то нездорово.

Полковник Лянкевич пригласил гостей в свою палатку.

— Зачем нам палатка, господин полковник? — сказал Густав Стравинский.— Погода чудесная. Вечер теплый.

— А комары?

— Так комарам и в полковничью палатку пути не заказаны,— заметил Миладовский.

Комары и впрямь наседали и на гостей, и на хозяев. Они не только жалили лицо и руки, но забирались даже в рот, в нос и в уши.

— И все же в палатке лучше. Туда их не пустит мой часовой,— улыбнулся полковник.— Правда, Янек?

— Постараюсь, господин полковник.

В довольно просторной палатке стоял небольшой стол, сколоченный из досок и накрытый белой скатертью, и по обе стороны от него — две дощатые скамейки.

Полковник пригласил всех садиться и сказал:

— Я пользуюсь случаем приветствовать наших высоких гостей на нашем военном совете.

— Виват! [1] — дружно отозвались командиры.— Господину воеводе и господину воеводскому комиссару — виват, виват!

Кастусь и Эразм поклоном ответили на приветствие.

— А сейчас, господа командиры и высокие гости,— продолжал Лянкевич,— разрешите мне коротко изложить вам обстоятельства нашего житья, а также план наших действий и нашего передвижения по южным и центральным уездам губернии.

И полковник рассказал, как создавался его отряд и чем занимался до настоящего времени, сколько имел стычек с карательными частями Манюкина, где и как достает оружие и провиант. Он выразил сожаление по поводу того, что воеводе Духинскому до сих пор не удалось еще вырваться из Ружанских лесов и что по этой причине ему, Лянкевичу, придется и в дальнейшем действовать самостоятельно, на свой страх и риск. Он обратился к высоким гостям с просьбой подтвердить эти его полномочия от имени воеводской организации.

Кастусь спросил, какова основная цель дислокации всех отрядов в одно место. Полковник ответил, что таково пожелание воеводы Духинского.

— А сами вы, господин полковник, что думаете об этом?

Лянкевич пожал плечами:

— Честно говоря, большого смысла в этом не вижу. Мне кажется, нам все же легче и удобнее выступать небольшими отрядами.

— Вот и я так думаю, господин полковник,— сказал Кастусь.— Нам следует бить Манюкина смертным боем там, где он этого не ждет, не давать его гарнизонам покоя, распылять его силы по всей губернии. Словом, довес-

[1] Виват (лат.) — да здравствует, ура.

ти до того, чтобы ему стало тошно и очень захотелось задать стрекача за тридевять земель.

По просьбе командиров Кастусь рассказал о последних событиях после смены генерал-губернатора, а также о военных неудачах Духинского под Белостоком и Сераковского — в Ковенской губернии. И хотя эти поражения не предвещали ничего хорошего, Кастусь говорил о них без уныния. Напротив, высказался в том смысле, что надо поднять новую волну широкого народного восстания.

Утром дозорные донесли, что по Брестско-Бобруйскому тракту движется большая воинская часть с казаками и пушками.

Полковник Лянкевич вежливо попросил Кастуся и Эразма покинуть лагерь, а сам начал готовиться ко встрече других — непрошеных гостей.

IX

Что же случилось под Миловидами?

Как рассказывал впоследствии в своем рапорте полковник Булгарин, ему удалось прорваться к лагерю Лянкевича совсем близко, почти за версту от смолокурни. Вокруг нее и разгорелся бой. Булгарин вел наступление по всем правилам военного искусства. Сперва обстрелял лагерь из пушек. Затем направил первую стрелковую роту и третий взвод третьей роты в обход смолокурни справа, а второй взвод той же третьей роты послал с барабанным боем влево. По собственному признанию Булгарина, этим он намеревался сбить Лянкевича с толку: заманить его на барабанный бой и оголить фронт перед первой ротою. Но Лянкевич разгадал его хитрость и встретил достаточно плотным огнем и барабанщиков и стрелков. По-видимому, хватило и тем и другим, потому что через два часа Булгарин сменил первую роту второй. Однако и вторая не сдвинула с места защитников лагеря. Ничего не добился и командир третьей роты майор Егоров.

Тем временем день был на исходе, а потери Булгарина росли. И он вынужден был отвести свой карательный отряд, потеряв девять человек убитыми и сорок одного ранеными. Эти цифры назвал он сам.

Адъютант же Валерия Врублевского учитель Арамович свидетельствовал, что карательный отряд Булгарина потерял под Миловидами двести сорок человек.

На следующий день, немного очухавшись, Булгарин снова отдал приказ штурмовать лагерь повстанцев. Но лагеря уже не было: повстанцы ушли в неизвестном направлении.

Объединенный отряд Лянкевича снова распался. Ни самому полковнику, ни его командирам и в голову не пришло, что они могли бы легко добить обессилевшего за день Булгарина, если бы бросились ему вдогонку. Сыграло роль то, что на открытый бой за пределами своего лагеря повстанцы не решились. Впрочем, и полная победа над Булгариным в конечном счете ничего не сулила: ведь генерал Манюкин прислал бы новые роты...

Подобная стычка была у отряда Духинского с майором Кремером. С той только разницей, что отряд Кремера настиг Духинского на марше и напал внезапно. В первые же минуты казаки Кремера отрезали Духинского с небольшой группою от отряда и загнали в лесные дебри. Удар принял на себя Врублевский. Восемь раз храбро водил он своих стрелков и косиньеров в атаку на стрелковые части и казацкие эскадроны Кремера. И все же разбить их не смог. Пришлось прервать бой и вывести отряд из-под огня, чтобы соединиться с Духинским.

Отряды Духинского и Лянкевича разошлись, так и не сойдясь. Началась новая война — партизанская.

Пока воевода Духинский мерялся силами с генералом Манюкиным, Кастусь вел упорную борьбу за укрепление своей организации. Он понимал, что за неделю или две победы не завоюешь. И одна или две удачи в бою дела не решат так же, как одна или две неудачи.

После Миловидов Кастусь простился с Эразмом и снова направился в южные районы, где, как ему казалось, больше всего нужны были теперь и его глаз и его помощь. На старика Гофмейстера он не очень-то надеялся. Правда, в последнее время Варшава прислала военным начальником Брестского воеводства студента Стасюкевича, который сразу же начал собирать отряд за Бугом, в Ракитнинских лесах. Кто такой Стасюкевич? Какой он начальник, хороший или плохой? Какой командир?

Все это тоже беспокоило Кастуся, и он отправился за Буг: лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать.

Не успел по приезде в лагерь познакомиться с молодым командиром, как неожиданно встретил в его лагере своего двоюродного брата Ивана.

Братья давно не виделись, и эта встреча обрадовала обоих.

— Откуда? Какими судьбами? — спрашивал Кастусь.

— А ты? — в свою очередь спрашивал Иван, крепко обнимая его.— Уж не та ли ты важная особа, которую мы ждем?

— Та, братец, та! Только фамилия у меня, если кто спрашивать будет, другая.

— Какая же?

— Ну, пусть будет Хамович, что ли.

— Вижу я, много у тебя фамилий...

— А мне они не обуза. Наоборот: чем больше фамилий, тем легче запутать следы. А гоняются за мною, как за волком.

Иван рассказал, что он только нынешней весною окончил военную медико-хирургическую академию и должен был поехать служить на Кубань. Но он — участник революционной офицерской организации и давно выбрал тот же путь, которым идет его близкий родственник. Вернулся на родину, и тут началось восстание.

— Ну, а как там, в Петербурге?—спросил Кастусь.— Дождемся ли мы помощи оттуда?

Иван ответил, что офицерская организация послала уже не один десяток своих членов в Вильно и Варшаву.

— А что слышно с «Землей и волей»? Можно на них рассчитывать?

— Вряд ли. Насколько мне известно, они совершенно не готовы к действиям.

— Жаль... Очень жаль...— сказал Кастусь.— Наши белые делают ставку на Англию и Францию. Но, кажется, выступление этих держав еще менее реально, чем земледельцев. Кстати, сам-то ты не белый?

— Что ты, что ты! За кого меня принимаешь? Я кто— помещик или граф?

Кастусь расспросил Ивана о его родителях.

— Живы и здоровы,— отвечал Иван.— Мой младший брат Егор тоже здесь, в отряде Стасюкевича. Я перета-

щил его сюда из воинской части, которая стоит в Бресте. Он служил там унтер-офицером.

Долго еще разговаривали братья. Наконец Кастусь расстался с Иваном и занялся делами отряда. Он попросил Стасюкевича построить повстанцев.

Выслушав рапорт самого командира и поприветствовав его отряд от имени Временного правительства, Кастусь обошел фронт, знакомясь с офицерами — командирами рот и взводов. Сам он на этот раз был в повстанческом одеянии — в серой чемарке [1], с вышитыми на груди черными узорами, в круглой меховой шапке, которая оставалась принадлежностью парадной формы даже и летом, и в юфтевых сапогах; за поясом — кинжал и револьвер.

После смотра отряда в строю Стасюкевич повернул отряд направо и скомандовал:

— Церемониальным шагом, ма-а-арш!

Отряд двинулся вдоль поляны. И хотя церемониального шага не получилось, но топота было достаточно. Равняясь с высоким гостем, офицеры брали под козырек или поднимали над головами сабли.

Кастусь приветствовал их:

— Да здравствует Временное национальное правительство Польши!

Или:

— Да здравствует свобода! На виселицу вешателя Муравьева! Смерть царю-тирану Александру Второму!

Офицеры, а за ними и все повстанцы подхватывали слова Кастуся, и они гремели над лесом.

Стасюкевич и его отряд понравились Кастусю. Но когда заглянул он в список личного состава, увидел ту же картину, что и в других отрядах: мало еще, совсем мало среди повстанцев людей простого звания — мужиков.

Покидая лагерь, Кастусь снова вспоминал о «Мужицкой правде». Давно не разговаривал он с людьми по душам через свою газету... А нужно, нужно говорить и говорить, будить и звать и вести в бой. И он приказал Язэпу взять направление на север, к Белостоку. Там он надеялся раздобыть бумагу и, если очень повезет, найти даже и типографию, чтобы не ездить больше так далеко

---

[1] Чема́рка — сюртук, напоминающий гусарский мундир.

к Савелию. Пока тянулась длинная дорога, в голове Кастуся уже рождался текст нового, седьмого, номера. Ну конечно же, начнет он с обычного обращения: «Ребята!» А затем покается, что долго не беседовал с ними. Подумать только: полгода молчал!

И возникли новые пламенные строки:

«Ребята!

Долго молчал я, не говорил вам ничего, потому что хотел присмотреться как следует и уразуметь, что же такое творится на свете, чтобы уж оповестить вас по справедливости и сказать, как велит бог и совесть, что же нам теперь делать надобно. Ждать и молча терпеть больше уже невмоготу! Давайте подумаем только, что хотят теперь сделать с нами. Обещал нам царь землю, чиновники и попы — все в один голос морочили нам голову, рассказывая сказки про то, что царь чистосердечно о нас заботится и даст волю, истинную волю. И слушали мы эти сказки, и слушали царя. Наказал он нам еще два года барщину отбывать, ну, мы ее и отбывали. Приказал рекрутов дать, дали и рекрутов, а сами только смотрели, как сыночков наших да братьев на край света погнали. Накинул нам подушного — платили и за живых, и за мертвых, платили земскую повинность и разные сборы, платили за посредника, на правление, старшинам, писарям и окружным, и асессорам — да бог знает кому,— знай плати и не спрашивай, куда ж наши денежки мужицкие уходят. Все нас обижали, кому не лень, все обдирали, как могли. Бил нас, кто сильнее, обижал, кто богаче, и на то нигде справедливости не было. И никому мы слова не говорили, и всех мы слушались, всем кланялись, все терпели, все ждали, когда этому конец придет, на волю надеялись да на земельку. И что же? Вместо того чтобы отдать нам землю нашу — нашу, потому что от дедов-прадедов кровным трудом своим давным-давно уж десять раз мы ее оплатили,— велит нам царь, чтобы за землю за нашу мы еще и чинш[1] в казначейство платили. Какой такой чинш? А кто его знает. Захотят чиновники да судейские кровопийцы, так он еще с каждым годом все больше будет и больше. Нет, так воли нам не видать как своих ушей: век целый плати да плати. Обманул нас царь, а его лакеи — попы да чиновники — за нос нас водят, как черт добрую душу...»

[1] Чинш — взнос арендатора владельцу земли.

Так, слово за слово, вел Кастусь задушевный разговор с мужиками о их горьком житье-бытье, о том, что наболело и у них и у него.

И наконец прошептал он тот вывод, ради которого и велся весь этот разговор:

— Подумайте хорошенько, да, помолившись богу, встанем дружно всем миром за нашу волю! Не дадим больше царю и его чиновникам нас обманывать, над нами издеваться! Нет для них в наших селах ни воды, ни хлеба, глухи мы для них и немы — ничего не видели, не слышали. И пока не поздно, надобно хлопцам нашим с вилами да косами туда спешить, где добиваются воли и правды, а мы, их отцы, и жены наши дома останемся да их оберегать будем, да им сказывать, откуда прет на них царская сила темная, и от души и всеми способами помогать ребятам нашим, которые за нас пойдут драться. Вот тогда-то и будет у нас воля, какой не было у дедов наших и отцов.

Кастусь улыбнулся самому себе: да, хорошие слова, те самые, которые нужны, чтобы поднялся наконец мужик, как богатырь Илья Муромец, чтобы пошел он единственной верной дорогою и чтобы стало восстание народным...

В Белостоке из всех воеводских начальников нашел Кастусь одного Гофмейстера. Через него шла тайная переписка с Вильно и Варшавой, он же ведал явочными квартирами в самом городе.

— А вам письмо, господин комиссар,— радостно встретил он Кастуся, протягивая ему конверт на имя Черноцкого.

Кастусь разорвал конверт, пробежал глазами строки письма: некий «знакомый» передает ему поклон от себя и друзей и очень ждет его в гости. И все.

Кастусь достал из своего дорожного саквояжа небольшую круглую коробочку и высыпал из нее на письмо горсточку белой пудры. Затем рассеял пудру по всему письму, и между редкими строками его появились иные. Прочтя их, спросил Гофмейстера:

— Давно пришло?

— Третьего дня. А что?

— В Вильно вызывают.

— Надолго?

— Возможно.

Гофмейстер выразил сожаление по поводу того, что ему приходится расстаться со своим комиссаром в такое время.

— Ничего не поделаешь,— сказал Кастусь.— Раз вызывают, значит, там я больше нужен. В Вильно идут аресты. Работать в Отделе теперь нелегко.

— Всюду трудно,— помрачнел Гофмейстер.— Но когда вы здесь близко, я чувствую себя увереннее и спокойнее. А без вас не знаю, что и делать буду. Освободите меня от моей должности. Прошу вас, пожалуйста...

Кастусь решительно ответил, что снять его с воеводства не имеет права и в этом нет необходимости, а вместо себя он намерен оставить Эразма Заблоцкого.

— Но он ведь гражданский воевода, мой наместник,— напомнил Гофмейстер.

— Воеводой будет кто-нибудь другой.

— Ну что ж...

Кастусь поблагодарил Гофмейстера за коня и бричку и попросил, чтобы он доставил его ездового Язэпа в отряд Духинского. А сам в тот же день поездом выехал в Гродно, к Эразму, чтобы оттуда отправиться в Вильно.

X

В Вильно снова легли на плечи Кастуся дела не только большого города, но и всего края.

Однажды утром, после завтрака, собрался он пойти к Малаховскому, но тут неожиданно услышал ворвавшиеся в его комнатушку через приоткрытую форточку резкие трубные звуки и барабанную дробь.

«Что бы это значило?» — подумал он, вслушиваясь в знакомую солдатскую музыку. Трубили и барабанили где-то близко. Может быть, какой-то ретивый офицер в такую рань выводит на ученье свою роту?

Но прошло минут десять, а барабаны все не утихали.

Кастусь вышел на улицу. Было серое, хмурое утро после ночного дождя. Старые деревянные тротуары на Замковой улице, где на одной из явочных квартир остановился Кастусь, и хорошо наезженная извозчиками и ломовиками мостовая еще не просохли. Кое-где поблескивали свежие лужи и лужицы.

Людей на улице было мало. И Кастусю сразу бросилось в глаза, что все они идут в ту сторону, где все еще грохотали барабаны.

Невольно и сам он пошел за людьми. Малаховский подождет: знает, что разговор будет серьезный и важный.

Отдел Гейштора доживает последние дни. Чтобы хоть немного продлить его существование, Отдел снова переименовали, назвав на сей раз Исполнительным отделом в Литве. Зачем это было нужно, Кастусь понять не мог. Разве только затем, чтобы еще крепче привязать Литву и Беларусь к Варшаве. Но ведь ни Гейштор, ни его сподвижники никогда и не пытались отделить себя от Польши. Тогда, быть может, другое: Временное правительство уже чувствует, что рано или поздно Отдел должен опять перейти в руки красных.

Все это не могло не волновать Кастуся. Но больше беспокоили его последние аресты. В руках муравьевских следователей уже почти половина Отдела — Оскерко, Еленский, Франтишек Далевский. Что это? Случайность? Или карателям известны и имена всех остальных членов повстанческого штаба? Гейштор и Дюлеран совсем опустили руки. Ждут со дня на день своей очереди . Потому-то и вызвали они себе на помощь Кастуся... А предводитель виленского дворянства Александр Домейко уже собирает подписи помещиков под верноподданническим адресом царю. Вот она — верность дела восстания, бороться за которое они клялись всего лишь два месяца назад! При первых же неудачах падают эти горе-революционеры на колени перед вешателями.

Ознакомившись с делами Отдела и с ходом восстания во всем крае, Кастусь увидел, что необходимы крутые и неотложные меры. Он написал пламенное воззвание к народам земли литовской и белорусской и напечатал его вместе с седьмым номером «Мужицкой правды». В этом воззвании, которое он назвал по-военному «Приказом», Кастусь коротко и ясно говорил народу, что нужно делать сейчас и кому помогать — солдатам Муравьева или повстанцам...

Труба и барабаны привели Кастуся на Лукишский рынок, рядом с которым на высоком месте увидел он виселицу. Толпа горожан и крестьян, приехавших на рынок, окружила эшафот. А солдаты все колотили и свои

барабаны, словно пытаясь отгородиться стеною грохота от страха и ужаса, который принес им этот день.

Теперь Кастусь понял все: Муравьев готовит очередную лютую расправу. Кто же станет сегодня его жертвой? Недавно, за несколько дней до приезда Кастуся в Вильно, на этой виселице кончилась жизнь соратника Зигмунда Сераковского, Болеслава Колышки. Его не просто повесили, а замучили. Петля не выдержала и оборвалась, когда несчастный был еще жив. В этом случае полагалось по закону оставить его в живых. Но палачи торопливо довершили свое черное дело.

Кто же сегодня? Сам Зигмунд? Кастусю стало дурно от одной этой мысли. Нет, Муравьев не посмеет убить офицера, которого вся русская армия знает как одного из лучших своих воинов, человека, светлому уму и чистой совести которого отдают дань уважения известные военные и политические деятели всей Европы! И где же в конце концов царь, что он, российский император? Ужели он допустит это преступление в своей мятежной империи, ужели даст лишний козырь Англии и Франции, которые и без того точат на него зубы? Только слепой страх, только боязнь полного крушения империи может толкнуть самодержца на такой неразумный поступок.

Тревожные мысли Кастуся внезапно прервал знакомый голос:

— Константин Семенович!

Он оглянулся и увидел рядом с собой девушку с плетеной корзиной, наполненной луком, огурцами, петрушкой и прочей рыночной зеленью.

— Марыська! — Кастусь с радостным волнением протянул ей руку.

Смуглые щеки девушки, одетой в темное цветастое платье, зарделись ярким румянцем. Видно было, что эта неожиданная встреча взволновала ее не меньше, чем Кастуся.

— Ты давно здесь?

— Нет. С недельку.

— Почему же не зашел? — обиженно спросила она.

— Все некогда...— уклончиво ответил Кастусь.— Дела...

— И не написал ни разу, где ты и что с тобой. Я у Титуса Далевского спрашивала о тебе. Сказал, ты уехал на родину.

— Было такое,— подтвердил Кастусь.— А написать не было у меня возможности...

— Понимаю. Ты ведь, наверно, из тех, за кем охотятся эти палачи,— кивнула она в сторону виселицы.— Я догадывалась об этом еще тогда, когда ты жил у нас на квартире.

— А знаешь, Марыська, у меня остались самые добрые чувства к вашей семье. Как там поживают ваши квартирантки — Стефания и Бронислава?

— Хорошо. Заходи, Кастусь. Все мы будем рады тебе. Ты совсем забыл нас...

Ей хотелось сказать «меня», но она сдержала себя: повода к этому Кастусь ей не давал, хотя и был всегда к ней очень внимателен. Но почему он такой нерешительный? Неужели она первая должна сказать ему те сокровенные слова, которых все девушки ждут от любимых? А может быть, встретил он другую или женился? Спросить об этом она не осмелилась.

Между тем барабаны на площади забили и громче и чаще. Толпа заволновалась. Вдруг послышались голоса: «Ведут... Кого же это?.. Кого?.. Да говорят, самого главного мятежника... Ишь ты, главного!.. Кто ж он таков? Православный или поляк? Матерь божья...»

Марыська побледнела.

— Уйдем отсюда, Кастусь! Я не могу...

— Да, Марыська, иди,— сказал он.— А я все же останусь...

— Ну, как знаешь. Ждем тебя. Заходи!..

Кастусь схватил ее за руку. Ему хотелось сказать ей что-то очень нужное, важное. Но мог ли он в своем положении думать о собственном счастье? И он сказал, сурово подавив свои чувства:

— Мы еще увидимся, Марыська. Кланяйся от меня матери и подругам...

Едва Марыся ушла, к виселице подъехало несколько повозок с жандармами и чиновниками.

Кастусь вошел в толпу, и ему с трудом удалось протиснуться вперед. Особенно приближаться к виселице он не хотел, чтобы не бросаться в глаза жандармам, которые встали перед толпой как живая изгородь. Остановившись где-то в середине толпы, он увидел двух жандармов, которые вели Зигмунда, держа его за руки. Кастусь вздрогнул. Зигмунд еле передвигал ноги: наверно,

раны его еще не затянулись. Спереди и сзади шествовали жандармы с шашками наголо. За ними двигалась целая свита судейских, важно шествовал полицмейстер. Зигмунд был в своей воеводской одежде: темный кафтан, фуражка-конфедератка с лиловой тульей, мягкие сапоги. На бледном, как полотно, худом, измученном лице сверкали его глаза, неповторимые глаза Зигмунда: умные, светящиеся глаза. Они внимательно вглядывались в толпу, словно ища того, кого хотелось увидеть этому бесстрашному человеку перед смертью. Может быть, искали они Аполлонию, первую красавицу Литвы, молодую жену Зигмунда? Но, как позже узнал Кастусь, в толпе ее не было: жандармы не известили ее, когда поведут на казнь ее мужа.

У Кастуся сильно забилось сердце, затуманились глаза. Зигмунд, которого он видел сейчас в последний раз, был — после брата Виктора — самый близкий его друг и наставник. Это он, Сераковский, вместе с Чернышевским и Герценом, посеял в душе Кастуся зерна священной любви и священной ненависти, указал путь к всеобщему счастью.

Кто же он и откуда в нем самом такая несокрушимая сила духа и вера в правое дело? Кастусь знал жизнь Зигмунда, как свою собственную, и вехи этой прекрасной жизни с молниеносной быстротою замелькали в его памяти здесь, у подножия виселицы, на которую вели его боевого товарища.

...Детство Зигмунда Сераковского было тяжелым: он рано потерял отца, так же как Кастусь — мать. Отец его, беспоместный волынский дворянин Игнатий Сераковский, пал смертью героя, будучи участником восстания 1830 года, когда не было Зигмунду еще и четырех лет. Зигмунд не помнил отца — об этом он сам рассказывал друзьям. Но само восстание, о котором много и горячо говорили в семье, на всю жизнь стало для него святыней. Любимым героем его сызмальства был Тадеуш Костюшко. И рос он мальчиком смелым и честным.

Кастусь хорошо помнил рассказ Зигмунда о том, как его хотели забрать в кадетский корпус. В дом явился полицейский чиновник, набиравший дворянских детей в кадетские корпуса. У матери не было ни малейшего желания отдавать в армию своего любимого старшего сына. Она хотела видеть Зигмунда учителем или адвока-

том, а не офицером. Чтобы скрыть его, она одела шестилетнего мальчика девочкой и сказала чиновнику:

— Как видите, мальчиков у меня нет.

Чиновник развернул бумаги и проговорил в недоумении:

— Тогда следует сделать исправления в списках, здесь написано — сын Зигмунд.

— Нет у меня сына,— повторила мать Зигмунда.

— Ну хорошо. Как же зовут вашу старшую дочь? — спросил чиновник.

— Зося.

Все обошлось бы благополучно, но честный и добросовестный Зигмунд не мог стерпеть лжи.

— Я — не дочь,— твердо сказал он чиновнику.— Я — сын, Зигмунд Сераковский!

Дорого стоил матери этот поступок ее сына: для того чтобы все-таки спасти его от кадетского корпуса, пришлось отдать чиновнику все серебро, которое было в доме. С юмором рассказывая эту историю друзьям, Зигмунд никогда не каялся в своем поступке. «Честность,— говорил он,— и золота дороже, что там серебро!»

Но Зигмунд был не только честным, а еще и настойчивым и волевым. Ему очень хотелось поступить в высшую школу. Средств на это у матери не было. И, учась в последних классах гимназии, он копил деньги, зарабатывая их частными уроками. Когда стало ясно, что этих денег не хватит, он два года прослужил гувернером в богатой семье. Одним словом, он делал все, чтобы не волновать мать, которая переживала за сына, но не могла помочь ему, никогда не имея лишнего рубля.

В Петербурге Сераковский поступил на юридический факультет по разряду камералистики [1], то есть на тот же факультет, который позже окончил и Кастусь. И его небольшая студенческая комнатушка на Васильевском острове вскоре стала штабом польского землячества, а сам он — душой этого сообщества молодых патриотов.

И когда в 1848 году вспыхнула революция в Европе и пошли слухи, что генерал Бем уже ведет иностранные польские легионы из Австрии к русской границе, Зигмунд помчался на родину, чтобы узнать, правда ли это и не пора ли выступить в поход за освобождение Польши ему

[1] Камералистика — цикл административных, финансовых и экономических дисциплин.

самому и его друзьям. Но его арестовали в пути. И хотя он ни слова не сказал ни о себе, ни о своих товарищах, жандармы почуяли в нем врага. А самый главный жандарм, царь Николай I, собственноручно начертал на его деле: «В Оренбургский корпус».

Так вот и не удалось матери уберечь своего сына от армейской службы. Более того: стал Зигмунд рядовым солдатом.

Год за годом влачил он ярмо николаевской солдатчины. Терпел и голод, и холод, и шпицрутены[1]. И вот тогда-то и поклялся он самому себе посвятить жизнь борьбе за отмену палочной дисциплины в русской армии.

Пройдя все круги ада, Зигмунд со временем все же дослужился до чина унтер-офицера. А дальше пошло уже легче. И в конце концов умный и образованный унтер-офицер Сераковский, самостоятельно изучивший три иностранных языка — английский, французский и немецкий — и свободно говоривший по-казахски, добился перевода по службе из провинциальной глуши в губернский город Оренбург — место ссылки революционеров. Здесь снова попал он в свою среду. И так же, как в Петербурге, сделался душою кружка, участниками которого были на сей раз не одни поляки, а и украинцы и белорусы.

Еще задолго до этого завязалась переписка Зигмунда с таким же, как он, изгнанником — солдатом соседнего гарнизона Тарасом Шевченко. И эта переписка крепко их подружила.

Дослужился Зигмунд и до офицерского чина. Теперь перед ним открылась дорога в академию Генерального штаба, и с помощью добрых людей он туда и попал.

Снова Петербург!.. Только теперь столица была уже не той, какой покинул ее некогда Зигмунд. Николай Палкин, как прозвали в народе Николая I, уже «почил в бозе», то есть умер. Передовая Россия после неудачной Крымской войны искала новых путей. Все громче и громче призывали лучшие сыны России к изменениям государственного строя и реформам. Сераковский не преминул присоединиться к ним и стал сотрудником журнала «Современник» — редактором иностранного отдела. Тонкий и мудрый политик, он поражал читателей глубокими по содержанию и безукоризненными по форме ста-

---

[1] Шпицру́тены — длинные гибкие прутья или палки, которыми били наказываемых солдат, прогоняя их сквозь строй.

тьями, очерками, исследованиями на разные темы — общественные и литературные. К голосу Сераковского чутко прислушивались и в России и на Западе. Он стал известен как один из самых талантливых и популярных писателей-публицистов. Высоко ценил его и как своего нового друга и как великолепного журналиста Николай Гаврилович Чернышевский.

Но Сераковского ни на минуту не покидала мысль о борьбе со шпицрутенами. Об этом он говорил и писал при каждом удобном случае. Выступал с речами в академии. Неопровержимая логика и сила доводов Сераковского заставляли задуматься и некоторых его учителей по академии, и даже офицеров военного министерства. И неожиданно после окончания академии его объявили знатоком военной криминалистики и оставили при военном министерстве.

Шаг за шагом, упорно и настойчиво шел он к своей заветной цели — нанести сокрушительный удар системе шпицрутенов.

Не откладывая в долгий ящик, он подал военному министру проект реформы уголовного права в армии, где доказывал, что палочная дисциплина не делает армию сильной, а, наоборот, ослабляет ее и что считать солдата животным в середине девятнадцатого века дико и бессмысленно, а дисциплинарный устав русской армии безнадежно устарел. Словом, проект Сераковского оказался таким убедительным и впечатляющим, что даже ярый сторонник шпицрутенов военный министр Сухозанет его не отверг и не наказал дерзкого капитана Сераковского. Нашлись в министерстве и прямые приверженцы проекта. Они посоветовали министру послать капитана Сераковского за границу для изучения уставов иностранных армий, чтобы позаимствовать из них все то, что может быть пригодно и полезно при проведении реформы в армии русской.

Началось большое и длительное путешествие Зигмунда по Европе. Как русского посланника принимали его самые известные военные и политические деятели Англии, Франции, Италии, он попал на беседу даже к английской королеве Виктории. Будучи поклонником военного таланта Гарибальди, Сераковский гостил и у него. Во время поездок по Европе не забывал Зигмунд навестить и своих земляков — польских эмигрантов.

Прошло время, и он одержал полную победу: его проекты изменения устава и отмены палочной дисциплины в конце концов были утверждены самим военным министром. Оставалось только получить высочайшее одобрение.

Но этого счастливого момента Зигмунд так и не дождался. Преждевременное восстание в Польше, в Литве и на Беларуси потребовало его участия. Завершая дело освобождения русского солдата от ненавистных шпицрутенов, он вступил в борьбу против царского самодержавия.

...Такой образ великого страдальца и борца встал перед Кастусем, когда он увидел его сейчас, на краю могилы.

Палачи делали свое дело: читали приговор, мылили петлю, подставляли скамью. Плешивый и одутловатый тюремный ксендз что-то усердно вычитывал из пухлого молитвенника и помахивал крестом. Жандармы по-прежнему держали Зигмунда под руки. И по-прежнему казалось, что ничего он не слышит, отыскивая в толпе самого близкого человека...

Когда церемония была окончена, полицмейстер сделал знак рукой жандармам, державшим обреченного, и они поволокли свою жертву в петлю. Зигмунд упирался, что-то кричал, плевал в жандармские рожи.

В толпе послышались стоны, выкрики: «Что делают, ироды!», «Больного человека в петлю волокут!»

Кастусь отвернулся.

— Ах, Зигмунд, Зигмунд,— шептал он, глотая слезы.— Как же ты сейчас нам нужен...

И он поклялся сделать все, чтобы отомстить вешателям Муравьева за своего лучшего друга. Он решил нынче же взять на свои плечи и ту ношу, которую нес Зигмунд. И никакие белые гейшторы не собьют его теперь с того пути, по которому мужественно шествовал до последнего дня незабвенный Зигмунд Сераковский.

XI

Еще уезжая из Гродно в Вильно, Кастусь просил Эразма навести справки о дядьке Егоре и, если удастся, отправить его к Савелию.

Посланец Эразма нашел дядьку дома: его выпустили из тюрьмы раньше срока, предписанного судом. После того как бывший генерал-губернатор Назимов признался, что напрасно посылал казаков сечь мужиков за непослушание помещикам и что не все помещики — божьи ангелы, обвинение против дядьки Егора отпало само собой. Да и пан Жердецкий едва ли не хлопотал за него, хотелось пану порисоваться перед своими мужиками: глядите, мол, какой я не злопамятный, старые грехи легко забываю. Ранней весною, когда дворовые наконец-то избавились от крепостного ярма, пан Жердецкий даже произнес перед ними речь о добрых помещиках: они-де только и помышляют о том, как бы сделать людям своим добро, дать им льготы, за которые люди должны быть им глубоко благодарны и жить с ними в согласии, слушаться их без нагайки тивуна и принуждения, потому что ни наделов своих, ни жилья вчерашние дворовые не имеют, а стало быть, без помещика им не обойтись...

Жена Егора, тетка Марьяна, не дождалась своего мужа из острога: умерла перед самым его возвращением. Так что теперь, кроме ее могилы, ничто не связывало Егора с имением пана Жердецкого, и совсем не трудно было ему бросить свою дощатую халупу и перебраться к Савелию, как, собственно говоря, и советовал ему прибывший от Эразма человек. Оттуда попал он в отряд Духинского, который петлял в окрестностях Беловежской пущи.

Это было время, когда новый генерал-губернатор перешел в наступление на повстанцев, без особого труда перетащив на свою сторону добрую половину помещиков и их прихвостней, не говоря уж о духовенстве. Почти во всех деревнях и селах создавались караулы из добровольцев и охотников до дармовой водки, которую Муравьев щедро раздавал налево и направо в виде вознаграждения за мелкие доносы и прочие гнусности.

Что же оставалось делать повстанцам? Отдаваться на милость какой-нибудь госпожи Костелковской или сельского попа, который зорко следил со своей звонницы за их передвижением, а потом бежал с доносом к ближайшему становому, или выбивать клин клином?

Кастусь с первых же дней восстания твердо стоял на том, что на тайную войну врага нужно ответить такой же тайной войною, то есть иметь свою революционную

жандармерию и разведку не только в городах, но и во всех боевых отрядах. Вот почему, заняв высокую должность в Отделе, он снова и снова напоминал об опасности в тылу, и в «Приказе народу земли литовской и белорусской» Кастусь сурово предупредил врагов восстания, кто бы они ни были — помещики или мужики:

«Настало время, когда каждый получит по заслугам. Помещик жестокий — помещика повесим как собаку. Мужик против нас — повесим и мужика. Вот что такое справедливость. Милиции и караулов по селам чтобы не было никаких и нигде. Каждый, кого застанем в милиции или в карауле, повешен будет без разговоров. И поделом. Потому что кто хочет народ загубить, пусть лучше сам падет от его руки!..»

Так на террор Муравьева ответил Кастусь своим революционным террором.

Валерию Врублевскому дядька Егор понравился с первого же знакомства. Может быть, отчасти потому, что познакомили его с Егором Язэп и Петрусь. Они поручились за дядьку, как за самих себя. Как раз в эти дни Валерий набирал людей в свой карательный отряд. И никак не удавалось ему найти командира: один чересчур горяч, другой — неповоротлив, третий — из помещиков...

«А что, если доверить отряд дядьке Егору?» — подумал Валерий.

Для дядьки Егора было такое предложение настолько неожиданным, что он растерялся и подумал, что Валерий шутит.

— Испугался? — спросил Валерий.

— Не то что испугался,— нерешительно отвечал Егор.—Но я ведь в этом деле не смыслю. Как же можно... командиром?..

Но Валерий не отступался.

— Сколько тебе лет, дядька Егор? — спросил он.

— За пятьдесят.

— Так что же, может быть, поставить над тобою командиром Петруся или Язэпа? Командир особого отряда должен быть человеком бывалым. Мы не собираемся нянчиться с врагами. Это так. Но ведь надо уметь отличить врага от человека, который ошибся или был обманут врагом. Таких мы тоже, конечно, по головке не

погладим. Но нельзя их путать с врагами. Ты, дядька Егор, лучше нас разумеешь, кого карать, кого миловать. От панов и их прихвостней на своем веку натерпелся немало, так что на них зуб у тебя ой как востер! Ну, а мужика, коли он подлец, тоже не обойдешь, воздашь и ему по заслугам. Чистая совесть твоя подскажет тебе, что делать: кого наказать острым словом, а кого виселицей.

— Так я ведь неграмотный, гражданин начальник...— все еще пытался сопротивляться Егор.

— Ничего, дядька Егор. Отхлестать лозою караульщика или повесить негодяя на сырой осине сумеешь. А записать приговор, если понадобится, смогут и другие. Я найду тебе писаря. Вот только надобно бы тебе как начальнику, кроме кинжала, иметь еще и револьвер.

— Револьвер — мне? — снова изумился дядька Егор.— Да я ведь его никогда и в руках не держал. Видел только...

— Видел — уже хорошо,— сказал Валерий. И, достав из кобуры свой револьвер, протянул его Егору.

Тот отшатнулся:

— Упаси боже... Еще выстрелит...

— Ничего. Сам не стреляет. Держи!

Егор осторожно взял пистолет и принялся рассматривать его как некое чудо.

— Вот видишь,— продолжал Валерий,— он не опасен для того, кто держит его в руках. Зато для врага — страшная штука. Правда, нужно научиться стрелять. Но не боги горшки обжигают. Научишься.

И Валерий не ошибся, назначив Егора командиром отряда. Недели через три дядька одолел свою командирскую грамоту. Небольшой его отряд, куда попали и Петрусь с Язэпом, стремительно носился на легких двуколках, разгоняя караулы и нагоняя страх на шпионов и доносчиков. Нигде подолгу не задерживаясь, дядька Егор всегда так же молниеносно исчезал в неизвестном направлении, как мгновенно появлялся словно из-под земли. Жандармы Лелякова сбились с ног, преследуя его, но старания их были напрасны.

Как-то уже в середине лета волковыский уездный Андрей Мушинский доложил Духинскому, что пан Жердецкий налога на нужды восстания не платит, самих повстанцев называет разбойниками с большой дороги, а его тивун Дракула под видом найма батраков разъезжает по

селам, шпионя и вынюхивая все, что только можно донести. Духинский передал это Валерию, и тот вызвал командира своего карательного отряда.

— Что ж,— сказал дядька Егор,— за это дело возьмусь охотно: пан Жердецкий у меня вон где сидит! — И он похлопал себя по шее.

— И не у тебя одного,— кивнул головою Врублевский.— У всего народа. А раз так, значит, повесь его, подлеца. Не возражаю. И думаю, одобрит наши действия и Кастусь.

В Дрозды отряд примчался на рассвете. Здесь Егор разделил его на две группы. Одну послал к пану, другую — к тивуну. А сам с Язэпом и Петрусем остался в саду, возле помещичьего особняка.

Первую группу повел отрядный писарь, хорошо известный Язэпу фельдшер волковыской тюрьмы Станислав Шпаковский, вторую — лесник Мартын Яроцкий.

Станислав поднял пана Жердецкого с постели без лишнего шума.

— Кто вы такие и что вам угодно? — спросил перепуганный пан у незнакомцев. Он счел их разбойниками и уже собирался предложить им свой кошелек, чтобы они только даровали ему жизнь.

— Мы — тайная служба майора Лелякова! — уверенно ответил Станислав.— У меня есть сведения, что пан прячет у себя повстанцев.

— Я прячу повстанцев? — задрожал пан.— Кто вам сказал? Да я готов повесить их своими руками! Вы спросите у волковыского исправника, какие услуги оказываю я ему!

— Э, нет, пан,— усмехнулся Станислав,— вы что-то не то говорите. Хитрите. Показывайте-ка лучше, где прячете мужиков.

— Пожалуйста,— оживился пан, одеваясь,— вы можете перетряхнуть все мое имение. И кто это мог сказать вам такое? Ну и люди!

Во дворе он увидел своего тивуна, окруженного такими же тайными агентами Лелякова.

— Да вот и мой тивун,— сказал пан Станиславу.— Пусть он скажет, как честно помогаем мы господину Лелякову. Он покажет вам все мои тайники.

— Тайники ваши знаем не хуже тивуна,— раздался откуда-то со стороны голос дядьки Егора.

Пан Жердецкий обернулся и тут же опустился на землю.

— Матка боска... Мне кепско... [1]

— Ничего, пан, потерпишь,— сказал Егор.— Мы тебя долго не задержим. Язэп, собирай народ!

Язэп бросился к хлевам, и, спустя мгновение, послышался оттуда громкий звон — сигнал к немедленному сбору. Вскоре сбежались во двор все панские батраки.

Егор коротко сказал, зачем их всех подняли в такую рань.

— Что будем делать с паном и его холуем? — спросил он, обращаясь к людям.

Тивун Дракула пустил слезу.

— Я не виноват, господа повстанцы. Видит бог с высокого неба. Это пан Жердецкий посылал меня выслеживать вас...

— А почему он меня не посылал? — бросил батрак Пантелей, зло глянув на тивуна.— Э, чего там лясы точить: одного поля ягода. Вместе гадили, вместе и судить!

— А где же Адам? — крикнул кто-то.— И его сюда!

— И его, и его!..— зашумели батраки.— Где он?

Но панского фурмана Адама во дворе не оказалось. Язэп и Петрусь побежали его искать.

— Небось в полицию рванул,— сказал Пантелей.— Его первым брать надо было.

Видимо, Пантелей был прав: Язэп и Петрусь вернулись ни с чем. Жена Адама сказала им, что он побежал на сбор, едва только услышал звон.

— Ну ничего,— сказал Егор,— и до него очередь дойдет. А пока будем судить первого кровопийцу пана Жердецкого и его верного пса Дракулу. И суд наш будет коротким: пока Адам вернется с полицией, наш и след простынет. Пан Жердецкий — душегуб, не одного мужика на конюшне до смерти засек, а скольких послал в тюрьму и на каторгу! И сейчас, когда вышли мы в бой за волю и долю, палки в колеса нам ставит. Пришла пора, пан Жердецкий, рассчитаться с тобою за все.

— Пора, ой, пора, Егорушка! — дружно закивали

---

[1] Матка боска... Мне кепско (польск.) — Матерь божья... Мне дурно.

головами батраки.— Дай бог тебе здоровья за золотые слова!

Пан сидел на земле, низко опустив голову. Тивун стоял рядом с ним, все еще всхлипывая.

— Кто из вас, люди добрые, хочет заступиться за своего пана? — спросил Егор.— Ну, поручиться за него, что ли?

Никто не ответил.

— Нет таких?

— Нет! — ответил за всех Пантелей.

— Тогда я скажу, каков наш приговор: петля на первой осине! А с тивуном что делать станем?

— Да так же, Егорушка, и его суди! — сказали батраки.— Они друг друга стоят.

— Воля ваша,— поклонился народу Егор.— Время не ждет. Айда, ребята!

И отряд, в мгновение ока рассевшись по двуколкам, исчез вместе с паном и его тивуном.

XII

Все лето было тревожным. События набегали одно на другое, словно волны морские в непогоду, и они не обходили стороною Кастуся.

Восстание угасало с каждым днем. Штаб, который руководил им в последние месяцы, почти окончательно распался. Да и сама революционная организация еле держалась.

Ни с Гейштором, ни с Дюлераном, которые только мешали восстанию, Кастусь поладить не мог. А Малаховский как начальник города собирался уже разогнать остаток старых членов Отдела и провозгласить свое самостоятельное правительство Литвы и Беларуси. И даже заказал уже новую печать.

Разногласия в Отделе дошли до Варшавы. И там встревожились не на шутку: литовского и белорусского сепаратизма боялись в Варшаве больше, чем измены белых. И поэтому в середине июля Варшава прислала на место Дюлерана нового правительственного комиссара Оскара Овейду — члена Временного правительства, человека, который умел легко сходиться и с красными, и с белыми. Однако и он ничего уже не смог сделать. Впро-

чем, Кастусь на него и не надеялся. Он по-прежнему собирал разогнанных Гейштором людей, писал письма и приказы уездным и командирам отрядов, требуя, чтобы они держались до последнего, не распускали своих повстанцев до самой зимы. Своего секретаря и близкого друга Язэпа Яманта, на квартире у которого Кастусь долго жил, послал он воеводским комиссаром в Минск, дав ему наказ поднимать крестьян на восстание. Он все еще надеялся создать на руинах старой организации новую и вступить в решительное сражение будущей весной. Не думал он, что белые господа способны на такое неслыханное предательство, как верноподданнические подписи на верноподданнических адресах царю. Один Домейко собрал уже 235 подписей! А вслед за дворянами начали отрекаться от восстания и ксендзы.

Тем временем, образовав Особую следственную комиссию, Муравьев добрался уже до самого центра восстания: в конце июля был арестован и Якуб Гейштор. Правда, шли слухи, что он сам сдался на милость Муравьева, чтобы легче было оправдываться перед его следственной комиссией. Что ж, как говорится, дыма без огня не бывает. Но как бы там ни было, тот самый Гейштор, который еще совсем недавно угрожал Кастусю самыми суровыми карами за его чересчур свободные мысли, перед арестом передал печать Отдела ему, а не кому-нибудь другому, потому что видел, что один Кастусь способен еще вести восстание дальше, если только это будет возможно. Овейда мало знал Литву и Беларусь. И Гейштор на него не мог положиться так же, как сам Калиновский.

Спустя месяц жандармы Муравьева схватили и Оскара. И он, не сговариваясь с Гейштором, передал свою комиссарскую власть Кастусю. Надо полагать, что и он не видел вокруг себя никого другого, кто бы мог соответствовать этой высокой должности.

Нового комиссара Варшава не прислала. Было ей в те дни не до этого. Понадеявшись на иностранные легионы и боясь народа, Временное правительство все еще не дало оружия мужику. Однако время шло, а легионов своих ни Англия, ни Франция не слали, и к концу лета восстание в польских воеводствах пошло на спад так же, как в Литве. И тогда на смену белым неудачникам во Временное правительство снова пришли красные. Но той

сильной организации, которую они весной передали белым, не было уже и в помине. Победы сменились поражениями. К тому же красные, как и раньше, не совсем ясно представляли себе, куда идут и кого ведут за собою. Способных руководителей после Ярослава Домбровского и Стефана Бобровского у них не было. Крестьяне по-прежнему отрабатывали барщину или платили оброк, и ни белые, ни красные этому не препятствовали. О январском манифесте Временного правительства почти никто уже и не вспоминал.

И вот в такое тяжелое для восстания время приехал в Варшаву малоизвестный человек, которому суждено было встать во главе событий и повести восстание дальше по новому пути. Это был Ромуальд Траугут, командир Кобринского отряда.

Ни сам Траугут, ни кто другой никогда не подумал бы, что на его долю выпадет подняться на самый высокий гребень повстанческой волны и как рулевому вести корабль восстания по бурному океану. Еще весною отставной полковник Траугут тихо и мирно жил под Кобрином, на Полесье, в своем небольшом имении, которое получил в наследство от одного из своих родственников. Он внимательно следил за ходом восстания, но присоединяться к нему и не собирался. Так впоследствии говорил он сам. Ни во время службы в армии, ни в отставке он, казалось, нимало не интересовался политикой и ни к белым, ни к красным не примыкал. Молчаливый, замкнутый, набожный, он был хорошим семьянином, рачительным хозяином, и только. Но пришла весна, и вместе с бурным половодьем поднялся на восстание Кобринский уезд.

Лучший друг детских и юношеских лет Траугута Аполлон Гофмейстер стал воеводою в Бресте. Отставной полковник Онуфрий Духинский прибыл в Гродненскую губернию, чтобы бороться с царским самодержавием. И другие царские офицеры покидали свои гарнизоны и присоединялись к повстанцам.

Сам Траугут вряд ли решился бы на такой шаг. Но когда ему предложили взять под свое начало Кобринский отряд, он согласился. И за две недели из людей, которые не нюхали пороху, он сделал солдат. Далось ему это нелегко. Зато в первой же стычке его солдаты, вооруженные охотничьими ружьями, наголову разбили нема-

лый карательный отряд стрелков со штуцерами[1] и вооруженных пиками и саблями казаков капитана Керсновского. Керсновский, не выдержав такого позора, застрелился. Тогда генерал Манюкин выслал на подавление Траугута полковника Энберга — три роты и сотню казаков. Но и на этот раз Траугут с его полутора сотнями повстанцев разбил регулярного противника.

Манюкин был взбешен. Что за Траугут? Дивизия у него, что ли? И он послал уже четыре роты солдат и две сотни казаков под командой лучшего своего генерала Эгера. Завязалась битва отчаянная и кровавая. И все-таки невозможно сказать, кто кого победил. Дней через десять значительно потрепанный отряд Траугута воскрес, пополнившись свежими силами, прибывшими из Бреста.

Таких удач не знал еще ни один повстанческий командир.

Что ж это было — везение, случайность или слабость врага? Ведь Траугут никогда не был строевым командиром. Но в этом саперном инженере, видимо, давно дремал талант полководца, пробудившийся при первой же возможности. Друзья Траугута рассказывали, что в Севастополе ходил он в полный рост по редутам[2] под бешеным вражеским огнем. Был он, помимо всего прочего, человек храбрый и бесстрашный. А временами суровый к себе и другим. В первые дни его командования отрядом повстанцев какой-то шляхтич нерадиво выполнил его приказ. Траугут собственноручно расстрелял его перед строем. Правда, потом говорил он, что хотел лишь напугать разгильдяя, а подвела пуля, угодившая ему прямо в сердце... Так оно было или не так — трудно сказать: ведь когда другой шляхтич сделал попытку дезертировать, тот же Траугут предал его военно-полевому суду и затем согласился помиловать приговоренного к расстрелу, только лишь вняв просьбе всего отряда.

Вернемся, однако, к разговорам о везении. Везло Траугуту, главным образом, в родных местах: дома, как говорится, и стены помогают. Здесь он и его повстанцы знали каждую тропинку и стежку в лесу и на болоте. И этот козырь был не из последних. Капитана Керсновского он сумел заманить в ловушку именно потому, что

[1] Штуцер — боевое ружье того времени.
[2] Редут — военно-полевое укрепление.

превосходно знал местность. Удачно выбранные позиции принесли ему победу и в других сражениях.

Узнав об успехах Траугута, Варшава поставила перед ним весьма трудную задачу: пройти через Полесье на северную Волынь, чтобы соединиться там с волынскими отрядами. Траугут не мог понять, зачем это нужно, но он был дисциплинированный командир и отказаться не счел возможным.

Тяжкий поход сквозь полесские дебри и реки и беспрерывные стычки с врагом до предела вымотали отряд. И все же он прорвался на Волынь. Но там никаких повстанцев не оказалось: разбитые, они отошли на юг, в Галицию... И чтобы избежать гибели своего отряда, Траугут распустил его и приказал поодиночке или небольшими группами возвращаться домой.

Но до Кобрина добрели лишь жалкие остатки отряда. Сам командир тяжело заболел, и друзья несли его на руках.

Выздоровев, Траугут не стал собирать новый отряд. Ему не давала покоя мысль о том, кто руководит восстанием и как руководит. И вообще, есть ли там, в Варшаве, хоть одна светлая голова? И есть ли у штаба восстания хоть какой-нибудь военный план? Пытаясь сделать выводы из собственной практики и практики известных ему других командиров, он не мог не заподозрить, что там, наверху, или нечто разладилось, или вовсе и не налаживалось. И прежде чем браться за сколачивание нового отряда, он решил уразуметь все это и с этой целью отправился в Варшаву.

Был конец июля. Белые, засевшие во Временном правительстве, по-прежнему бесплодно ждали прибытия иностранных легионов. Восстание их не очень-то интересовало: важно было только не остановить его совсем, потому что в этом случае у Англии и Франции исчез бы повод для военной помощи Польше. В правительстве так и говорили: «Достаточно одного выстрела в неделю на каждый уезд, чтобы Европа освободила Польшу». И потому, когда прямой и честный Траугут обрисовал план своих операций, белые только поморщились и постарались тут же от него избавиться: дали высокое звание генерала и послали за границу, чтобы он поторопил Англию и Францию...

Два месяца прожил Траугут на чужбине и убедился,

что и там царит такая же неразбериха, как в Варшаве: никто ничего не знает и не хочет знать. Англия и Франция помогать Польше и не думают, а только ведут пустые разговоры. Значит, бороться за свободу надо своими силами. А где они, эти силы? И Траугут, который никогда не был ни белым, ни красным, пришел к той же идее, которая была давно уже провозглашена его земляком-гродненцем Кастусем Калиновским: силы эти — в народе. Не одних помещиков и шляхтичей призывать надо к оружию, а весь народ: мужиков, мастеровых, горожан... Только они, и никто другой, способны освободить свою землю. Между тем Временное правительство не дает им оружия, купленного за границей, и не ведет их в бои. Стало быть, следует попросить это правительство уйти с дороги, а если не уйдет — поступить с ним так же, как с нерадивым шляхтичем в Кобринском отряде...

Когда Траугут вернулся из-за границы, Временное правительство перешло уже в руки красных. Но это не изменило отношения к высшим сословиям, на которые по-прежнему делалась ставка, и не устранило неразберихи в военных планах.

Тогда, посоветовавшись с некоторыми военными руководителями восстания, Траугут пришел на заседание красного правительства и заявил: «Все вы, господа и граждане, возможно и хорошие люди, и истинные патриоты, но руководить восстанием вы неспособны. С нынешнего дня руководить им буду я...»

И что же, красные члены правительства не обиделись, не предложили ему уйти, а даже вздохнули с облегчением: восстание было уже на таком спаде, что только чудо могло его спасти.

И вот Траугут, бывший командир небольшого Кобринского отряда, стал рулевым всего восстания.

Первым же своим приказом он назначил руководителем восстания в Литве и Белоруссии Кастуся Калиновского. Кастусь не просил его об этом, но Траугут сам прекрасно видел, что Кастусь единственный в Вильно человек, который думает и действует так же, как он сам. Значит, и доверять ему можно так же, как самому себе.

Так наконец прекратились споры между белыми и красными, и руководство перешло в руки Ромуальда Траугута в Польше и Кастуся Калиновского — в Литве и на Беларуси.

А тем временем дамоклов меч нависал над головою Кастуся все ниже и ниже. Грозовые тучи надвигались со всех сторон. Арестованный комиссар Виленского воеводства Мечислав Дормановский назвал следственной комиссии одного из известных ему руководителей восстания, кандидата или доктора права Константина Хамовича, сообщив, что раньше он был комиссаром в Гродно. Настоящей фамилии Кастуся Дормановский не знал. Обрадованный Муравьев немедленно отправил телеграмму гродненскому губернатору: «Разыскать, арестовать и отправить сюда доктора прав Константина Хамовича, сделав у него обыск. Он уроженец Гродненской губернии, до июня был тайным комиссаром там, затем — в Вильно».

Пока гродненский губернатор искал некоего Хамовича, другой арестованный, Станислав Ожешко, спасаясь от виселицы, назвал следственной комиссии настоящую фамилию Кастуся. И снова полетела в Гродно телеграмма Муравьева: «Вам предписан арест Константина Хамовича. Выяснилось, что подлинное его имя Константин Калиновский. Арестуйте также доктора Заблоцкого. Если он не комиссар Гродненской губернии, то должен знать это лицо...»

Но Кастусю снова повезло: гродненский телеграфист допустил ошибку и расшифровал фамилию так, что вместо «Калиновский» получилось «Кайновский». Кто знает, может быть, это была и не ошибка... А губернатор снова ударил во все колокола, приказав искать важного преступника Константина Кайновского.

Спустя месяц схватили какого-то белостокского шляхтича Константина Хайновского. Правда, первая буква его фамилии не соответствовала телеграмме, но несчастного под усиленным конвоем препроводили в Вильно.

Так счастливо избежал Кастусь страшной беды. Но кольцо вокруг него все сужалось, хотя и был он теперь уже и не Хамовичем, и не Черноцким, а Игнатием Витаженцем — учителем истории и географии с постоянным местом проживания на квартире у учителя гимназии Жебровского.

XIII

Как ни старался фон Галлер выслужиться, а в начале лета пришлось ему все же расстаться с губернаторским креслом.

Первый удар нанес ему царский наместник в Варшаве великий князь Константин Николаевич. Еще в конце прошлого года он пожаловался министру Валуеву, что Галлер недостаточно тверд в отношении крестьян-бунтарей и что если так будет продолжаться, то «к весне в этой губернии повторятся весьма нежелательные галицийские события, которые могут охватить и смежные губернии...».

Началось восстание, и в верхах была выработана новая тактика: теперь советовали не душить мужика, а, наоборот, время от времени гладить по шерстке: молодец, мол, что не слушаешь своих плохих помещиков. Так им и надо. Они, видите ли, против царя-батюшки мятеж подняли, хотят крепостное право вернуть.

В этот момент нападки на Галлера прекратились.

Но пришла весна, и посыпались новые упреки.

Где повстанцы бушуют больше всего? В его губернии. Где больше всего читают «Мужицкую правду»? У него.

И закончилась губернаторская карьера Галлера. Его место сперва занял граф Бобринский, а потом, в конце августа — вышколенный жандармский службист в чине генерал-майора Скворцов.

Когда-то был Скворцов начальником ковенской жандармерии, затем несколько месяцев возглавлял жандармское управление в Вильно. И вот сейчас Муравьев откомандировал его в самую беспокойную губернию, чтобы он навел там порядок своей беспощадной жандармской рукой. Отправляя Скворцова на новое место, он, между прочим, напомнил ему и о «Мужицкой правде», и о ненайденном до сих пор Константине Калиновском. «Искать его, я полагаю, следует там,— сказал Муравьев.— И кажется мне, что «Мужицкая правда» — дело его рук. Какие у меня доказательства? А никаких. Просто чутье старого служаки. Вы, генерал, самый надежный человек, а посему прошу вас, попробуйте разгадать эту тайну...»

Скворцов искренне расчувствовался, услышав похва-

лу самого Муравьева, и обещал сделать все возможное и невозможное.

Ознакомившись с последними рапортами уездных военных начальников, новый губернатор убедился, что во вверенной ему губернии восстание держится еще на высокой волне — не так, как в других губерниях. Мятежники, как и раньше, смело атакуют гарнизоны, уничтожают почтовые станции, грабят казначеев, выводят из строя телеграфные линии... Надежные их пристанища — Свислочская и Беловежская пущи. И что самое страшное — здесь больше, чем где-либо еще, идут за мятежниками мужики, помещичьи и скарбовые. «Стало быть,— сделал вывод Скворцов,— мятежники держатся, опираясь на пособничество всего населения. А это значит, необходимо прежде всего ударить по тем, кто сочувствует мятежникам или им помогает».

И по приказу нового губернатора жандармы и солдаты перевернули вверх дном все деревни и села, где побывал хоть один повстанец. Тюрьмы были забиты людьми, которые видели повстанцев и не донесли о них начальству, и даже теми, кто слушал, как кто-то читал воззвания против царя и манифест Временного правительства. Мужик теперь для Скворцова, как и для Муравьева, не был страшен: несмотря на все усилия повстанцев, восстание все же шло на спад. Значит, пришла пора снова показать мужику его законное место в империи и отбить у него охоту не повиноваться царю и помещику. А чтобы яснее было, как строго карает власть за сочувствие повстанцам, Скворцов, с разрешения Муравьева, приказал жечь целые деревни — по выбору уездных воинских начальников. И весьма рад был получить первый рапорт о такой акции:

> Белостокского уезда жители деревни Яворовка, насчитывающей 27 дворов, с самого начала мятежа помогали мятежникам. Кроме того, впоследствии многие из них и сами принимали участие в мятеже и прятали мятежников из других губерний и из Царства Польского, перевозили их по рекам Супросля и Нарва.
>
> За эти преступные действия все жилые избы и все хозяйственные строения деревни Яворовка, по приказу начальника края и под наблюдением воинского начальника уезда полковника Мантейфеля, 6 сего августа сожжены дотла, а скот, все

движимое имущество вместе с жителями доставлены в гор. Белосток, где до особого распоряжения в числе 61 мужского и 80 душ женского пола содержатся под арестом, а имущество продается с аукциона и вырученные за него деньги будут высланы по требованию начальнику Гродненской губ.

О чем Вашему превосходительству честь имею доложить.

Майор Штейн.

Следом за Яворовкой были преданы огню и деревни Пеняжки, Щука, Шумлы, Эйсымонты... А всех жителей — старых и малых — погнали в Сибирь.

И все же первыми сдались не мужики и мелкие шляхтичи-арендаторы, а помещики-дворяне. Они написали слезное прошение царю, вымаливая себе прощение. Губернатор Скворцов не мог не быть доволен таким, например, верноподданническим адресом:

Всемилостивейший Государь!

Восстание в Царстве Польском, к сожалению, нашло свое отражение и в Гродненской губ.

По причине революционных событий губерния оказалась в плачевном положении, особенно дворяне, владеющие имениями.

Составляя единое целое и неделимое с Россией, под державным твоим, Государь, скипетром, дворянство Гродненской губ. отвергает какое бы то ни было участие в революционных действиях и осмеливается просить твоего, августейший монарх, милосердия.

Предоставляя судьбу свою на твое всемилостивейшее усмотрение, искренно изъявляем тебе, Великий Государь, чувство нашей верноподданнической преданности.

— Ну-с,— сказал самому себе губернатор Скворцов,— мятежу конец, а мне — лавровый венец!

Скворцов не отличался такой спесивостью, как Галлер. Он был много моложе его, знал себе цену и верил, что слава сама рано или поздно его найдет. И вот она наконец-то в его руках! И не имеет значения, какою она добыта ценой. Победителей не судят!

Первые успехи не вскружили, однако, голову ретивому жандарму. Он помнил наказ Муравьева о Кастусе Калиновском и решил найти его во что бы то ни стало.

Искал с первого дня своего губернаторства. Искал безуспешно: то Хамовича, то Кайновского, то отправил в Вильно Хайновского и потом пришлось оправдываться и просить прощения из-за ошибки телеграфиста. Зато теперь этот негодяй телеграфист будет помнить его, Скворцова, всю жизнь: генерал отправил его в Сибирь.

Снова и снова перебирая дела, касающиеся «Мужицкой правды», Скворцов вызвал Лелякова.

— Надо думать,— язвительно заметил губернатор, когда Леляков появился перед ним,— не Вильно и не Варшава подбрасывают нам этот листок! Надо искать здесь, у нас.

Леляков молчал. Да и что, собственно, он мог сказать!

Пощадив его, Скворцов перевел разговор на другую тему.

— Я просмотрел списки наказанных за «Мужицкую правду». Меры наказания явно либеральные. Расстрелян только один мужик по фамилии Тюхно. Мало. Очень мало. Студента Горчака, вместо того чтобы повесить на площади, выслали в Пермскую губернию. Впрочем, тут виноват скорее Галлер, а не вы.

Леляков ожил, кивнул головою в знак согласия.

— Разрешите доложить, ваше превосходительство, новых выпусков «Мужицкой правды» давно уже не было.

— Это хорошо. Но этого недостаточно. Старые-то гуляют среди мужиков. И не только-с... Я решил произвести внезапные обыски в канцелярии Палаты государственных имуществ, во всех сельских и волостных правлениях, а также у всех писарей и вообще неблагонадежных. Каково ваше мнение по этому поводу?

— Таково же, как мнение вашего превосходительства.

— Быть не может, чтобы мы эдаким неводом не выловили той рыбы, которая нас интересует. Прошу вас, майор, действуйте! Арестуйте всех, у кого будут найдены листки. А там уж мы сделаем кое-какие выводы. Бог даст, попадется в наш невод и сам Калиновский. Все эти мерзавцы знают друг друга, но, к сожалению, не всегда выдают. Надо помочь им, майор!

XIV

По пятам отрядов Валерия Врублевского, не давая ему передышки, шли солдатские роты и казачьи эскадроны генерала Манюкина. Каратели давали повстанцам небольшие передышки только по ночам, когда сами падали без сил, где придется, и засыпали как убитые.

Все лето Валерий не только отбивался от карателей, но и сам нападал на них, где только было возможно. И всегда выручала его пуща. Как мать родная, принимала она его в свои объятия, пряча от врагов. Генерал Манюкин хорошо понимал это и делал все, чтобы лишить повстанцев этого незаменимого укрытия. Но только сейчас, когда восстание доживало последние дни, удалось ему одержать верх над отрядами Врублевского. Разгромленная революционная организация воеводства уже не могла дать им ни оружия, ни хлеба, ни денег. Ряды повстанцев редели. Отряды распадались.

Чтобы спасти хоть остатки своих отрядов, Валерий решил вывести их на зимовку за пределы Гродненской губернии, в Польшу. Варшава не препятствовала этому. Она тоже ослабла до предела и намеревалась назначить Валерия воинским начальником одного из польских воеводств.

Поздним вечером остановились повстанцы на ночлег рядом с каким-то болотом. Расставив часовых и дозорных, они рассыпались по кустам в поисках брусники и клюквы. Вот уже несколько дней донимал их голод: манюкинцы захватили их обоз вместе с кухней и всеми силами старались не подпускать их к хуторам, чтобы не могли они хоть чем-нибудь поживиться. Не удавалось повстанцам и зажарить пойманную дичь: ночью разжигать костер было равносильно самоубийству.

Валерий попросил своего адъютанта Игната Арамовича созвать командиров. Вскоре прибыли командир батальона, бывший капитан Либавского полка Эйтманович, командир роты стрелков поручик Завистовский, командиры косиньеров Летковский и француз-волонтер Симоне, командир конников Кобылинский и дядька Егор, которого теперь звали только так, по имени, и летучий отряд его на легких двуколках тоже окрестили отрядом дядьки Егора.

Исхудавший за лето и снова обросший кудрявой бо-

родою Валерий коротко сообщил командирам, какова обстановка и как предстоит действовать дальше.

— Спасение у нас сейчас одно,— сказал он в заключение,— накормить людей и двигаться в польское Подлесье. Там ждут нас братья по оружию. Где и как достать провиант? Давайте подумаем вместе. Оторвались мы от вражьей погони, видимо, ненадолго, так что времени у нас мало и надо сделать это дело как можно быстрее.

Командиры задумались. Нелегкую задачу поставил перед ними Валерий.

— Сколько верст до Подляшья? — спросил поручик Завистовский.

— Шестьдесят или семьдесят,— ответил Валерий.

— Многовато,— вздохнул командир стрелков, которые больше всех устали от переходов.

Эйтманович попросил у Валерия его карту. Взглянув на нее, сказал:

— К сожалению, ты не ошибаешься. И голодной пехоте вряд ли под силу одолеть такой переход по чертовым тропам и болотам.

Дядька Егор спросил, нет ли поблизости какого-нибудь жилья.

— Кажется, одни леса и болота кругом... И на карте ничего не видать...

— А все-таки за лесом должно быть поле. А где поле, там и люди. Разреши мне отлучиться с моими хлопцами.

— Но ведь у нас и денег не осталось ни копейки,— развел руками адъютант Валерия, исполнявший также обязанности отрядного казначея.— Платить за провиант нечем.

— Ничего. Свет не без добрых людей. Не подыхать же нам с голоду.

Не видя другого выхода, Валерий отпустил отряд дядьки Егора.

— Но ненадолго,— напомнил он.— Чуть свет уходим отсюда.

— Постараюсь,— ответил дядька Егор.— Двуколки у нас в порядке. Вот только кони на одной траве.

— А ты, брат, поищи там заодно и овса,— попросил Кобылинский.— Ну, хоть мешка три или четыре. Тогда мы еще потягаемся с казачишками.

— Да уж мимо не пройду, коли найду. Прихвачу и на твою долю.

Конница бывшего офицера русской армии Казимира Кобылинского славилась на всю губернию. Знали о ней и Вильно и Варшава. Не раз драпали от нее отборные казацкие и уланские эскадроны, не говоря уж о пехоте.

Но чаще всего совершала она набеги на казармы и гарнизоны. И немало царским служакам причинила вреда. Это хорошо видно хотя бы из такого красноречивого рапорта подпоручика Ружанской этапной команды:

> Сего числа в три часа утра на город Слоним со стороны шоссейного тракта налетела шайка инсургентов (верховых), вооруженных двуствольными ружьями, револьверами и саблями, числом до 100 человек, и, окружив казарму, открыла огонь по окнам и начала поджигать самое казарму, требуя сложить оружие и угрожая в противном случае перерезать всех. Одновременно 15 человек во весь карьер направились к моей квартире и, встретив меня по дороге в казарму, арестовали меня, приказав вернуться в квартиру для обыска. Как понял я из разговоров инсургентов, они намеревались искать у меня оружие, порох, деньги, казенные и секретные бумаги. После неоднократных угроз и приставления револьверов со взведенными курками к моей груди я вынужден был отдать свое двуствольное ружье, охотничью бутылочку пороху, 59 руб. казенных и 6 руб. 12 коп. арестантских денег. В казарме налетчиками было захвачено: ружей — 22, патронов — 903 и большая часть амуниции, а также хозяйственные вещи. В канцелярии командования уничтожено много бумаг, книг и архивных материалов.

Правда, налет на ружанскую казарму совершили не сто, а пятьдесят шесть всадников, но известно ведь, что у страха глаза велики. Зато когда речь шла о потерях повстанцев, тут уж манюкинские офицеры убивали их на бумаге сколько хотели. Подполковник Амантов доложил генерал-губернатору, что во время стычки у хутора Пухлы его казаки уничтожили тридцать конников Кобылинского. А двое казаков этого подполковника — Кузнецов и Шипанов, не сговорившись с командиром, засвидетельствовали, что убитых и раненых мятежников не найдено. Более того, несмотря на то что Амантов напал на мятежников внезапно, они успели рассредоточиться и открыть ответную стрельбу, в результате чего был убит есаул Прусаков, трое уланов ранены, а один упал вместе

с конем в картофельную яму и разбился насмерть. Увидев все это, уланы поспешно отступили...

Дядька Егор не захотел брать Язэпа с собой.

— Отоспись лучше, пока мы вернемся,— сказал он ему.— Ты ведь на ногах еле держишься.

Но Язэп не сдался и на этот раз. Он просто в толк не мог взять, как же это дядька Егор может оставить его здесь, в лесу, и обойтись без него. Никто ведь лучше, чем он, не поведет двуколку командира. Он ведь все время был теперь ездовым Егора — так же, как раньше ездовым Кастуся. Да он и не доверит никому своего коня!

Дядька Егор махнул рукою:

— Спорить с тобой, хлопец, времени нет. Запрягай.

Язэп в мгновение ока запряг коня и взобрался на свое место.

Отряд дядьки Егора тронулся в путь.

Когда стемнело, повстанцы нарубили и наломали лозы и, расстелив ее под кустами, улеглись спать: командиры обещали разбудить их хоть в полночь — едва только вернется дядька Егор.

Валерий с адъютантом тоже соорудили себе лозовую постель — одну на двоих, чтобы было теплее. Но, прежде чем заснуть, долго еще разговаривали они вполголоса о том о сем, чутко вслушиваясь в каждый звук и надеясь уловить легкое тарахтенье двуколок дядьки Егора. Но вскоре Арамович умолк, и Валерий понял, что адъютант заснул. «Вот и хорошо,— подумал Валерий.— Пускай отдохнет. Достается ему. Только люди, которые добровольно выходят на бой за великое дело, способны переносить такие лишения и невзгоды». Ни от своего адъютанта, ни от командиров не слышал он за последние, такие тяжелые дни ни одной жалобы на тяготы походной жизни.

Валерий решил проверить караулы. Встал осторожно, чтобы не разбудить адъютанта, набросил на плечи свою походную куртку и пошел вдоль лагеря.

Кругом было тихо. Слышалось только пофыркивание коней да храп спящих повстанцев.

С затянутого тучами неба начал накрапывать дождь. «Этого еще не хватало,— подумал Валерий.— Манюкин дает передышку хоть ночью, а от дождя просто-напросто никогда спасу нет».

Часовые несли службу исправно, и, обойдя их, Валерий возвратился на свою лозовую постель.

Уже на самом рассвете разбудил его чей-то взволнованный голос:

— Гражданин начальник...

Валерий и его адъютант вскочили.

— Кто здесь? — спросил Врублевский, вглядываясь в разбудившего его повстанца.

— Я от дядьки Егора...— проговорил тот и тут же упал.

Валерий наклонился к нему.

— Да это ж Петрусь! Что с тобою, хлопец?

Петрусь не ответил. Арамович расстегнул его армяк, пощупал грудь.

— Плечо в крови...— сказал он.

Валерий заволновался:

— Зови Ивана! Ах ты, опять беда...

Вскоре Арамович вернулся с доктором Иваном Калиновским. Доктор пощупал пульс раненого. Потом достал из своего саквояжа пузырек с нашатырем, откупорил его и дал понюхать Петрусю. Петрусь зашевелился, открыл глаза.

— Ну, вот и хорошо,— сказал доктор, повеселев.— А теперь, братец, посмотрим твою рану.

Рана Петруся оказалась не тяжелой, но потеря крови и дальняя дорога после ранения привели парня в тяжелое состояние. Доктор промыл его рану и забинтовал ему плечо.

Придя в себя, Петрусь рассказал, что случилось с дядькой Егором и его отрядом.

Часа через два после выезда из лагеря отряд наткнулся на какое-то имение или фольварк[1]. Стали стучать в ворота. Вышел еще не старый, но лысый как колено хозяин — пан Цибук. Едва узнав, чего от него хотят, пан начал прибедняться и так и эдак — хоть самому ему милостыню подавай. Нет, мол, у него ни хлеба, ни сала, ни овса. Сам он со своей семьею прямо-таки голодает. Дядька Егор посочувствовал голодному пану, но все же не поверил ему и попросил ключи от амбаров. Пан на дыбы: как так можно не верить ему, всеми уважаемому дворянину Цибуку! Дядька Егор, однако, не спасовал и

---

[1] Фольва́рк — небольшая усадьба, поместье.

расстегнул кобуру своего револьвера. Пан сразу притих и пробормотал, заикаясь от страха, что ключей у себя он не держит — они у эконома. Эконом послал к тивуну. Тивун — к ключнику. А тот как в воду канул.

Искать другого пана было некогда, и дядька Егор дал своим хлопцам команду ломать замки.

Ну конечно же, наврал лысый пан! В амбарах его нашлось и сало, и ветчина, и даже изрядный запас выпеченного для батраков хлеба. А в закромах — и горох, и овес, и пшеница... Выбирай что хочешь...

Обрадовался дядька Егор, набил свои двуколки и тем и этим. Хотел перед отъездом пану слово сказать: зачем, мол, народу врал и лгал. А пана уж и след простыл — исчез вслед за ключником...

И вскоре обоз дядьки Егора нагнали конные жандармы. Стычка была короткая. Вырваться из нее удалось одному только Петрусю. Остальные, видать, убиты или попали в плен.

— Душегуб проклятый! — гневно сказал Валерий о пане-предателе.— Как же это не разгадал Егор его черную душу да не запер его вместе с холуями...

Валерий принялся растирать обеими руками лоб и виски. Бесконечные неудачи, измученные, голодные люди, вместе с которыми покидал он родные края, и в довершение всего такая глупая гибель отряда дядьки Егора — нет, это было слишком даже для него, человека могучей воли и сильного характера.

— И Язэп был с вами? — спросил он Петруся.

Петрусь кивнул головой.

— Бедный Язэп! — простонал Валерий.— Не уберегли мы Язэпа!

Его охватила такая тоска, словно потерял он самое дорогое в жизни. Он невольно подумал о Кастусе, который так жалел Язэпа и любил его, как родного брата...

В эту минуту подбежал к Валерию командир конников и доложил, что его разведчики заметили верстах в двух от лагеря казачьи разъезды.

Валерий приказал Арамовичу поднять всех по тревоге.

— Боя принимать не будем,— сказал он Кобылинскому.— Теперь прямо на Подляшье. Дойдем! Должны дойти!

XV

Жандармы Муравьева шли по следам Кастуся и, можно сказать, наступали ему на пятки. Часто приходилось Кастусю ночевать в разных местах. Хозяину квартиры он говорил в таких случаях, что поздно засиделся с друзьями за вистом [1].

Однажды ночевал он на тайной квартире на Заречной. Часа в три ночи его разбудила хозяйка госпожа Догель, вбежавшая в его комнату со свечою в руке.

— Пан Кастусь!..— зашептала она дрожащим голосом.— Пан Кастусь... Облава...

— Потушите свечу, пани Догель! — сказал Кастусь.— Облава? Где?

— Дом окружен солдатами...

— Благодарю вас, пани Догель,— проговорил Кастусь, окончательно проснувшись, и в тот же миг вскочил на подоконник.

За дверью, на деревянной лестнице послышался грохот тяжелых солдатских сапог. Спустя мгновение Кастусь очутился на пожарной лестнице. Что же дальше?.. Спуститься вниз?.. Но и там кто-то сосредоточенно сопит... Единственный путь — потихоньку, оставаясь незамеченным, подняться на крышу.

Тем временем госпожа Догель одним махом затворила окно, швырнула под кровать туфли и верхнюю одежду Кастуся, а сама легла на его постель и, закрыв глаза, принялась усердно храпеть.

Вскоре дверь комнаты с шумом распахнулась, и жандармские фонари зашныряли по всем углам. Один из жандармов подошел к кровати, сорвал одеяло и тут же бросил его обратно.

— Баба, черт побери! — выругался он.— Старая баба!..

Госпожа Догель сделала вид, что нехотя просыпается. И неожиданно закричала:

— Спасите! Грабят! Убивают! На помощь!

— Успокойтесь,— сказал ей жандармский офицер.— Будьте любезны не вопить. Вы ведь понимаете, что мы пришли к вам не случайно...

Но на госпожу Догель эти слова не оказали ни ма-

---

[1] Вист — карточная игра.

лейшего действия. Она продолжала кричать что было мочи.

Жандармы оставили ее в покое.

Плотно прижавшись к черепичной крыше, Кастусь только сейчас вспомнил, что очутился он здесь в одном белье. Думать об одежде было некогда.

Зима еще не наступила, однако ночные заморозки донимали уже по-настоящему. К тому же лежать на крутой крыше, покрытой густым инеем, можно было только недвижимо, чтобы не сорвать черепицу и не полететь вместе с нею вниз, прямо на солдатские штыки.

Солдаты, стоявшие внизу, негромко переговаривались, и Кастусь машинально прислушивался к их разговору. Один солдат просил у другого махорки. Тот отвечал, что курить во время облавы не полагается. Первый заметил на это, что вся облава не стоит выеденного яйца, потому что ищут они здесь прошлогодний снег.

— Нет,— возражал другой,— здесь какой-то важный мятежник прячется. Всех будто бы переловили, а этот все еще на воле.

— Так зачем же ему здесь сидеть? Домов-то в городе, слава богу, немало.

— Ну, начальству это лучше известно: у него повсюду свои уши и глаза...

Солдаты умолкли.

«Неужто и в самом деле полицмейстер Саранчев гоняется за мною?..— подумал Кастусь.— Значит, квартира госпожи Догель разоблачена... Кто же выдал ее? Не сама же хозяйка. Иначе она не прибежала бы будить меня. Как бы то ни было, надо немедленно сообщить об этом друзьям. Эх, друзья, друзья! Мало уж вас осталось...»

И думы о нелегкой судьбе друзей и самого восстания утишили на некоторое время и страх перед облавою, и колючий холод, который пронзил уже насквозь босые ноги Кастуся и постепенно охватывал все его тело.

...Что же произошло в последнее время? Что сделал он как первое лицо в Отделе и что может сделать еще? Конечно, ряды его друзей и соратников значительно поредели, повстанческие отряды обессилены или разбиты, многие командиры погибли или попали в плен. Но, право же, не все еще потеряно! Надо только во что бы то ни стало сохранить и сберечь то, что еще уцелело.

Руки и ноги Кастуся одеревенели, он перестал их ощу-

щать. Казалось, вот-вот сорвется он с крыши и плюхнется прямо на головы солдат.

Обыск затягивался.

— Долго же они там ищут,— проворчал внизу первый солдат.

— А им что, им тепло, вот и не торопятся...— ответил второй.

— Поди, господин Саранчев там чаек попивает со своими помощничками...

— У какой-нибудь вдовушки небось...

— Эх, мне бы хоть пустого кипяточку сейчас...

— Ишь ты! А не подать ли тебе, барину, рюмку водки?

— А и то... Инда околеешь стоямши. Шинелишка казенная не очень-то греет. На рыбьем меху. Не овчинный тулуп...

«Мне бы сюда шинелишку, пусть на рыбьем меху. Не то сам в рыбу превращусь,— подумал Кастусь.— Кровь, сдается, остыла совсем. И как это не пришло мне в голову прихватить сюда одеяло или хоть простыню...»

Между тем жандармы облазили весь дом, обыскали подвалы, побывали и на чердаке: Кастусь слышал, как громыхали они, переворачивая какую-то рухлядь.

И лишь тогда, когда не только последние силы, но и сознание начало покидать вконец промерзшего Кастуся, словно сквозь сон донеслось до него: «От-бой! От-бой!» Это жандармский офицер давал солдатам сигнал об окончании осады.

А когда несколько мгновений спустя солдатские сапоги гулко протопали по деревянному тротуару, Кастусь медленно сполз вниз, к пожарной лестнице.

Госпожа Догель, которая догадывалась, что ее квартирант мог найти приют только на крыше, уже открывала окно, чтобы броситься ему на помощь.

XVI

— Ну, рассказывай, рассказывай, брат, как там и что там,— говорил Кастусь, крепко обнимая бывшего своего секретаря Язэпа Яманта.

Язэп только что приехал из Минска. Кастусь ждал его с нетерпением. Кончался старый год, нужно было думать

о новом. И не только думать, но и делать что-то большое и важное. Рядом с Кастусем не было теперь человека, которому мог бы он доверить свои сокровенные мысли и сомнения. Три дня назад арестован его верный друг Титус Далевский, младший брат Франтишека и Аполлонии Далевских. Все эти дни Кастусь думал только о нем. Не покидали его и воспоминания о бесстрашных борцах за освобождение от царизма Антанасе Мацкявичюсе и Игнатии Здановиче — начальнике города Вильно после Малаховского, повешенных недавно Муравьевым. Из помощников остались у Кастуся только Ильдефонс Милевич, которого вызвал он в конце лета из Гродно, и его тезка, по фамилии Юзеф Калиновский, инженер-капитан в отставке, учитель виленской гимназии. Но и тот и другой окончательно утратили всякую веру в успех восстания и советовали Кастусю остановить восстание сверху... Это означало, что он, Кастусь Калиновский, как первое лицо среди повстанцев Литвы и Беларуси, должен послать приказ об этом в воеводства и уезды...

А что скажет Ямант? Кастусь вызвал в Вильно и Витольда Парфиановича из Могилева. Но он еще где-то в пути. Что скажут они, комиссары двух воеводств?

Друзья уселись на диван в небольшой комнатушке, где стоял еще только маленький столик с двумя креслами. Комнатушка эта была знакома не одному Кастусю. В последние годы состоялось тут немало тайных свиданий и тайных бесед. Квартира Ямантов на Ратушской площади была настоящим штабом для Кастуся и его единомышленников. Здесь так же, как в семье Далевских, Сырокомли, Греготовичей, все любили Кастуся и встречали как родного. Старик Ямант — поверенный князя Витгенштейна — обычно не вмешивался в дела молодежи, но во время таких встреч и сам не отрывал глаз от окна своего кабинета, и младшую дочь Ядвигу посылал к воротам, чтобы она вела там наблюдение, хотя Язэп и не просил его об этом.

— Что ж тебе рассказать? — задумался Язэп.— С чего начать? Новостей много...

Он снял очки, которые носил из-за болезни глаз с первых студенческих лет, пригладил ладонью свои пышные каштановые волосы, поправил широкий черный галстук на белой рубашке.

— А ты все, все рассказывай,— подхватил Кастусь,

приготовившись слушать.— Мне ведь не только хочется, но и важно знать, как там у вас начиналось и как кончается. Нам ведь сейчас необходимо учитывать все до мелочей, чтобы не повторять ошибок.

— Ну что ж, в Минской губернии начиналось, наверно, так же, как везде: манифестации, выступления гимназистов, пение революционных песен и гимнов, ношение женщинами траура по жертвам варшавских расстрелов. Правда, значительная часть наших помещиков еще прошлой осенью высказалась на своем дворянском собрании за присоединение Минской губернии к Царству Польскому. Этого, как мне известно, в других губерниях не было.

— От этого они, однако, не стали красными,— усмехнулся Кастусь.

— Нет, конечно. Да и вообще разговоры остались разговорами: едва заслышав об эдакой крамоле, царь разогнал дворянское собрание, и все кончилось.

Язэп взял со стола папиросу.

— Ты еще не научился курить? — спросил он Кастуся, пуская голубые кольца дыма.

— Горько на душе и без этого,— мрачно проговорил Кастусь.

— Красных,— продолжал Язэп,— представляли там известные тебе Ян Козел, офицер Артиллерийской академии Станислав Лесковский, доктор Михаил Оскерко. Были, конечно, и другие партии и группы. К началу восстания они объединились вокруг воеводы Корнелия Пеликши, помещика из белых, и воеводского комиссара Болеслава Свенторжецкого, тоже помещика с Игуменского уезда. Затем, когда Свенторжецкий с повстанческими отрядами ушел на свою родину, его заменил Оскерко. Вышел из глубокого подполья и Антон Трусов, студент Московского университета.

— Я слышал о нем,— сказал Кастусь.— Оскерко говорит, что он похож на меня.

— Внешне не похож. А вот характер у него, пожалуй, твой. Я встречался с ним несколько раз и всегда восхищался его мужеством и неколебимой верой в правое дело. Между прочим, нашу революцию он понимает по-своему. Ненавидит царя. Но и Царство Польское не жалует. Помещиков — как белых, так и всех прочих — считает балластом в наших отрядах. «Только палки ста-

вят в колеса» — так о них говорит. Словом, оригинальная личность. Он не из дворян, отец его мелкий почтовый служащий — почтальон и станционный смотритель. Из тех, кого бьют и плакать не дают. Стоит вспомнить пушкинского станционного смотрителя, чтобы представить себе весь этот быт. И все же сумел этот мученик, отец Антона, вырастить детей, а Антона даже в гимназию отправил. Кстати, учился Антон в минской гимназии вместе с Владиславом Борзобогатым.

— Интересно. Очень интересно,— сказал Кастусь.— Если Трусов такой же, как Борзобогатый, то я завидую вам.

— У нас не один Трусов такой... Ох, что бы ты сказал, если бы познакомился с нашей Камиллой! Ей-богу, влюбился бы, не иначе! Кстати, не женился ли ты?

— Где там! А кто такая Камилла?

— Девица. Дочь нашего минского поэта Дунина-Марцинкевича. Слышал о таком?

— Не только слышал, но и читал. Кое-что. Сырокомля его хвалил. Так что же с Камиллою? Где она?

— К сожалению, далеко.

— Сослана?

— Губернатор Кожевников сперва посадил ее в тюрьму. А осенью выслал в Пермскую губернию. Рассказывают о ней как о героине. Немало крови испортила она губернатору. Ее необычайно тонкий и живой ум помог ей ловко обвести следователей вокруг пальца. Так и не смогли они предъявить ей обвинения. Выслали ее, собственно говоря, незаконно, так и не установив никакой вины.

— Каких способных и хороших людей губят! — вздохнул Кастусь.— А что же Трусов?

— Окончив гимназию, он поступил в Московский университет. Собирался стать врачом. Упорно преодолевал нужду. Но все же не смог ее побороть. Со второго курса ушел. Через четыре года снова вернулся в Москву. И опять не выдержал голода и лишений. Когда же началось революционное движение в Польше, он весь отдался ему, ушел в него с головой. Отец его в это время жил в Минске, и Антон имел пристанище. Носил крестьянскую одежду, с господами и с мужиками разговаривал одинаково просто, подчеркивая этим, что все люди равны. Было это еще до варшавского манифеста. Многие

считали его обыкновенным чудаком. Но когда пробил час восстания, у этого чудака был уже сформирован отряд. И не было в его отряде ни единого богача, ни одного помещика. Студенты, гимназисты, ремесленники, мелкие чиновники. Подбирал по себе.

— Ей-богу, он мне нравится,— улыбнулся Кастусь.

— По дороге в лесистый Игуменский уезд, где ждал его со своим отрядом Лесковский, принял Антон Трусов первый бой. На его отряд, к которому присоединились отряды Красовского и Конопацкого, напала рота отборных солдат капитана Богаевского. Силы были неравные. Трусову пришлось отступить с немалыми потерями. И тут понял он причины своей неудачи. Во-первых, ни он сам, ни его помощники не были военными и не знали военного дела, а без этого командовать в бою не так-то легко. Во-вторых, отряд его вступил в сражение, будучи почти совсем безоружным. Какая уж это война! Солдаты стреляют в тебя из штуцеров, а ты отбиваешься от них одностволкой или лезешь на них с кинжалом! Даже двустволок не было. Да и откуда они у бедных студентов или ремесленников! Это и тебе, и мне, и всем нам наука: не вести людей в бой без хорошего оружия.

— Да, брат, и еще какая наука! — горестно покачал головою Кастусь.— Мы ведь вспомнили об оружии только тогда, когда надо было уже стрелять. Надеялись получить его из-за границы. Но не вышло.

— И все же Трусов не сдался,— продолжал Язэп.— Преодолев тяжкий путь, с боями дошел он до Игуменских лесов, где соединился с отрядом Лясковского. Теперь им обоим стало легче. Они хорошо дополняли друг друга: незаурядные способности Трусова слились с военными знаниями Лясковского. Не стану рассказывать обо всех их удачах и неудачах, походах и приключениях, скажу только, что отряд Трусова и сейчас существует и действует. Царские каратели и суровая зима вынудили его рассредоточиться по хуторам и усадьбам лесников, но не заставили сдаться. И я думаю...

— Думаешь, перезимует? — взволнованно спросил Кастусь.

— Да. Быть может, один только костяк останется, но останется наверняка.

— Костяк, говоришь? Что ж, верна пословица: были бы кости, а мясо нарастет...

— Сам Трусов недавно выехал в Петербург, оставив отряд Василию Конопацкому. А Лясковский со своими людьми еще в октябре отправился на зимовку в Царство Польское. Вот какие у нас дела.

— Ну спасибо,— сказал Кастусь.— Ты дал мне некоторое представление о делах Минской губернии. Ну, и теперь самое важное, что я хотел бы услышать от тебя: как думаешь, прекратить восстание или нет? Вот я — комиссар Отдела, какую должен, по-твоему, дать команду воеводским и уездным начальникам?

Язэп задумался.

— Трудно мне дать тебе такой совет,— сказал он наконец.— Для этого надо знать, что происходит в Литве, на Беларуси и в Польше.

— К сожалению, всюду не лучше, чем у вас,— ответил Кастусь.— Врублевский покинул Гродненскую губернию. Неизвестно, кто заменит Антанаса Мацкявичуса в Ковенской. Некем, брат, и заменить. Болеслава Длусского я послал в Пруссию, чтобы там основал он военную школу: надо ведь думать и о будущем. Туда же выехал и Владислав Малаховский, чтобы закупить оружие. Ковенские отряды на зиму пришлось перебросить за границу. Правда, витебские ребята еще держатся — повстанцы дружат там с мужиком. Это значит — и крыша у них есть над головой, и кусок хлеба. Из Могилева жду Парфиановича. Ничего хорошего от него, пожалуй, не услышу. У нас же, в Вильно, куда ни ступишь — на жандарма наткнешься. В Лукишках виселица не простаивает. Связь с Варшавой прервана. И все-таки у меня рука не поднимается прекратить борьбу, как советуют мои помощники. Хочу к весне подготовить новое восстание. И на этот раз — по-новому. К бесу помещиков! Они и в самом деле только ставят палки в колеса. Надо поднимать мужиков. За этот год сам Муравьев подорвал их веру в доброго царя-батюшку. Слишком уж много накопилось в душах их и сердцах обиды и ненависти. Беспощадные суды, виселицы, сожжение целых деревень, Сибирь для старых и малых... Все это ужасно. И за что? Только за то, что люди хотят быть хозяевами своей земли и не желают терпеть издевательств и мук.

Кастусь встал, подошел к окну. У ворот стояла Ядвига.

— Возьми хотя бы этот обман с землей,— продол-

жал он.— Целый год морочили мужикам головы, обещая пересмотреть несправедливые уставные грамоты, снизить отработки в пользу помещика, вернуть отрезки. Пригнали со всея Руси целую рать чиновников. Вот они и жили себе за мужицкий счет, что-то мерили, писали, морочили голову мужику. Царь, мол, нас послал, чтобы помогли мы вам отобрать у помещиков ваши законные земли. И что же — обманули мужика, а Муравьев тем временем расправился с нами.

— Расправился? — переспросил Ямант.— Полагаю, что мы все-таки еще существуем.

— Да, пожалуй,— проговорил Кастусь.— Каково же твое заключение?

— Не сдаваться, как бы ни было трудно.

Кастусь встал, снова обнял друга.

— Именно это я и надеялся от тебя услышать. Не сдаваться! Либо жизнь и свобода, либо смерть в бою! Спасибо, Ямант, спасибо, брат!

...Вечером того же дня приехал из Могилева Витольд Парфианович. Боясь облавы, Кастусь не оставил его ночевать у Ямантов, а повел на свою квартиру в Святоянские муры [1].

XVII

Еще осенью Муравьев и жандармский полковник Лосев, возглавлявший виленскую жандармерию, объявили во всеуслышание, что мятеж в Северо-Западном крае подавлен.

Но и Муравьев и Лосев прекрасно знали, что тлеет еще, а кое-где и ярко вспыхивает пламень восстания. И все потому, что где-то прячется главный повстанец, который без конца будоражит мужика то одной, то другой губернии.

В начале декабря было названо уже имя этого главаря. Арестованный Людвик Дичковский — начальник Ковенского воеводства — заявил Муравьеву: «Восстанием в Литве, разумеется, командует Вильно. Кто сейчас там первое лицо, не знаю. Но на должности секретаря, судя по почерку,— Кастусь Калиновский. Не исключено, что

---

[1] Мур (белор.) — каменная или кирпичная стена. Муры — кирпичные здания. Здесь: отдельно стоящий квартал.

он и есть комиссар Литвы. В таком случае секретарем у него — Титус Далевский...»

Предатель Дичковский подсказал также, где искать обоих. Не знал он только последней квартиры Кастуся.

Жандармы помчались по горячим следам. Титуса Далевского настигли они на явочной квартире вдовы поэта Сырокомли. Прописан же он был последнее время под именем Парфиановича на другой квартире — у Юзефы Греготович.

Титус Далевский сошел в могилу, не проронив ни единого слова о том, кого он любил и кому верил.

Муравьев заболел. Врач прописал ему полный покой. Но Муравьев не мог успокоиться: не пойман и не повешен Кастусь Калиновский. Ведь пока этот главарь на свободе, нет уверенности в том, что мятеж в любую минуту не вспыхнет снова.

Беспокоило Муравьева и то обстоятельство, что не пойманы еще комиссары Минской и Могилевской губерний. Эти губернии особенно опасны: через них мятеж может перекинуться на восток и на юг России, как это и замышляли Сераковский и Звеждовский. Сераковского уже нет, а Звеждовский где-то скрывается и может объявиться.

Именно поэтому послан был Муравьевым в Минск сам Лосев. Хотелось вешателю, чтобы тот разведал все на месте. И заодно поискал бы там Калиновского. В Гродненской губернии розыски главаря не увенчались успехом, несмотря на поголовную проверку во время внезапных обысков в казенной палате и в волостных управлениях. Кто знает, быть может, Калиновский в Минске...

В Минске его обнаружить не удалось. Но зато всего за три недели в пух и прах разгромил Лосев тамошнюю воеводскую организацию. В его руки попали и воеводские комиссары Язэп Ямант и Михаил Оскерко. О Калиновском пока и они ничего не сказали.

Но Лосев не терял надежды на дальнейший успех. Главным орудием Лосева, по его собственному признанию, было притворство. После того как его несчастная жертва проходила обработку грубых солдафонов, Лосев приказывал доставить ее к нему, и тут начиналась комедия: он разговаривал с арестованным ласково, не скупился на слова утешения и даже пускал слезу. Сбитый с толку человек забывал на некоторое время, кто перед

ним, и порой даже верил в искренность Лосева. Правда, далеко не все попадались на его удочку. «Шесть раз поцеловал его, шельму,— рассказывал он об одном из арестованных, и что же вы думаете? Ни слова нужного мне не сказал».

Одним из первых был арестован Лосевым последний минский воевода Гектор Лапицкий — помещик, владелец имения Птич. Должность воеводы передал ему помещик Пеликша, который еще осенью уехал в Петербург, а оттуда бежал за границу. Познакомившись с Лапицким, Лосев сразу же почувствовал, что перед ним человек недалекий и чрезмерно самолюбивый. И, по обыкновению, малость всплакнув, Лосев продекламировал: «Ваше превосходительство, мне очень и очень жаль вас, такого известного в губернии помещика, такого добродетельного отца пятерых детей, что я готов сделать решительно все, чтобы помочь вам...» И Лапицкий тут же сдался.

Перечитывая списки арестованных, Лосев наткнулся на знакомую фамилию: Парфианович. Не имеет ли лицо, носящее эту фамилию, какой-либо связи с Титусом Далевским? Ведь покойник выдавал себя за Парфиановича. Не скрывается ли под этой фамилией и еще кто-нибудь? А что, если Далевский и Калиновский носили одну и ту же фамилию, чтобы запутать следы?

Витольд Парфианович, арестованный в Бобруйске, содержался в минской тюрьме. Лосев приказал привести его.

И увидел невысокого молодого человека с бледным испуганным лицом и бегающими глазами. Руки и ноги его дрожали как в лихорадке. «Ну и трус!..— подумал Лосев.— Нет, конечно же, это не Калиновский». Но, не дав Парфиановичу опомниться, выпалил:

— Константин Калиновский — это вы?

Парфианович на мгновение потерял дар речи.

— Да или нет?

— Я — Витольд Парфианович...— едва проговорил арестованный пересохшими от страха губами.

Лосев притворно расхохотался:

— Ну, это вы бросьте! Нам все известно. Перед вами полковник Лосев. Слышали обо мне?

— Слышал, господин полковник...

Лосев положил на стол лист чистой бумаги, обмакнул перо в чернила.

— Стало быть, так и запишем: Константин Калиновский, уполномоченный комиссар Литвы, диктатор восстания!

— Я — комиссар Могилевского воеводства... Я уже сказал об этом господину следователю...

— Знаю, знаю... Все вы прикидываетесь овцами. Комиссару воеводства мы еще можем даровать жизнь. Вышлем куда-нибудь в Пермскую губернию — и все. А диктатора — на виселицу! Вот в чем тут разница. Все это вы, господин Калиновский, прекрасно знаете. Но я не из тех, кого вам удастся одурачить.

Сделав какие-то записи на своей бумаге, Лосев продолжал допрос:

— Арестованы в Бобруйске?

— Да.

— Ехали в Могилев?

— Да.

— Чтобы увидеться со своим помощником — комиссаром воеводства Людвиком Звеждовским?

— Я сам комиссар Могилевского воеводства,— лепетал ни живой ни мертвый от страха Парфианович.— Людвик Звеждовский еще весною уехал в Царство Польское. И не комиссаром он был, а военным начальником...

— Нам лучше знать, куда кто уехал! — строго оборвал Парфиановича Лосев.— Кто еще работает в виленском Отделе вместе с вами?

— Но я ведь не из Отдела...

— Нет, батенька, дело так не пойдет. Даю вам ровно сутки на размышления. Если через сутки не скажете правду — пошлю на виселицу. Без суда! Все.

Лосев вызвал из коридора жандарма и приказал ему увести арестованного.

— Держать его под особым наблюдением! — крикнул он.— Это самый главный преступник!

Парфианович не удержался и расплакался навзрыд.

«Ну и слюнтяй! — с отвращением подумал Лосев.— Как же это он попал в комиссары целого воеводства?»

Лосев даже пожалел, что напрасно потерял время, разыгрывая с ним всю эту сцену. И решил больше не вызывать его. Но к концу дня арестованный Парфианович сам попросил свидания с господином полковником.

«Скажет, что он — Калиновский»,— усмехнулся Лосев. И жандармский полковник вспомнил Игнатия Зда-

новича и Титуса Далевского. Какие гордые, храбрые люди! Даже он, их враг, не мог не восхищаться тем, как держались они на допросах, как защищали своего главаря, чем могли, и отдали за него свои жизни. А этот... достоин только презрения...

Ввели арестованного. Он по-прежнему был жалок.

— Ну-с, что нового скажете, комиссар Калиновский?

— Пишите, господин полковник...— проговорил Парфианович, опустив глаза.— Калиновский живет в Вильно...

— Адрес?

— Святоянская улица... Святоянские муры...

— Номер дома?

— Не знаю.

— Квартира?

— Не помню.

— Под какой фамилией?

— Витаженец...

— Не лжете?

Парфианович перекрестился дрожащей рукою:

— Вот вам святое распятие.

— Значит, вы — не Калиновский?

— Нет. Я — Парфианович.

— Жаль. А что еще вы о нем знаете? Как его найти? На Святоянской улице не один дом.

— В Доминиканском доме живет госпожа Баневич... Она знает, где Калиновский... Она все знает...

— Больше ничего не добавите?

— Ничего.

— Подумайте.

...В Вильно, на имя Муравьева, пошла шифрованная телеграмма:

«На Святоянской улице, в Святоянских мурах, живет воевода Калиновский под именем Витаженца. В Доминиканском доме живет некая Баневич, могущая уточнить адрес Калиновского...»

28 декабря, в девять часов вечера Муравьев получил эту телеграмму. И прослезился.

Вызвав полицмейстера Саранчева, приказал незамедлительно арестовать Баневич.

Но агент, посланный к ней, вернулся ни с чем.

— Баневич уехала в гости к родителям.

— Куда?

— В Ошмяны.

— Проверьте домовые книги... Сами, пожалуйста... И никому — ни слова...

«Кто бы мог подумать,— ахал полицмейстер, перелистывая обветшалые домовые книги,— что тот, кого второй год разыскивают по всему краю, живет по соседству с самим генерал-губернатором!»

А между тем Кастусь не случайно выбрал это место. Более спокойное трудно было найти. Когда-то здесь была Иезуитская коллегия [1], потом Виленский университет, а после его закрытия во время второго польского восстания — гимназия, музей древностей, обсерватория и архив. Жили здесь только учителя и служащие этих учреждений.

Бегло просмотрев списки жителей, никакого Витаженца Саранчев не обнаружил. Правда, впоследствии выяснилось, что фамилия эта значилась в книге гимназического дома, но сгоряча полицмейстер ее пропустил. И даже подумал, что не такой дурак Витаженец, чтобы вписываться в домовую книгу.

Так он и доложил Муравьеву.

— Значит, сей субъект проживает без прописки? — грозно спросил Муравьев.— А ваши подчиненные об этом и не подозревают. Нечего сказать-с...

— Перед самым Новым годом проверяли все книги...

— Книги!.. Ах, боже мой, боже мой!.. Капитан! — обратился Муравьев к своему адъютанту.

— Слушаю, ваше высокопревосходительство!

— Две роты солдат из ближайшей казармы! И оцепить Святоянские муры!

— Слушаюсь, ваше высокопревосходительство!

И адъютант помчался исполнять приказание.

— А вам, господин полицмейстер, придется просмотреть каждую квартиру и каждую щель.

Через два часа после этого разговора в квартиру учителя Святоянской гимназии Жебровского постучали. Кастусь встал, зажег свечу и пошел открывать дверь: думал, вернулся с дороги хозяин. На темной лестничной клетке увидел перед собою двух жандармов.

— Ваша фамилия? — спросил один из них.

— Витаженец.

— Вы арестованы!

---

[1] Иезуитская коллегия — высшая школа иезуитов.

XVIII

Особая следственная комиссия заседала в старом Доминиканском здании[1], превращенном теперь в главную городскую тюрьму. В тесных монашеских кельях — наиболее заметные участники восстания. Дела их, законченные следствием, пересылались в военно-полевой суд.

В одну из таких клетушек, на двери которой значился номер три, привели Кастуся в ночь с 28 на 29 января 1864 года. Тюремный надзиратель посветил фонарем, указывая, с какой стороны нары и параша, молча вышел и запер за собою тяжелые, обитые железом двери.

Оставшись один, Кастусь увидел полоску света, проникшую из коридора сквозь замочную скважину. Это было теперь единственное, что связывало его с внешним миром. При свете фонаря не догадался он посмотреть, есть ли здесь хоть какое-нибудь оконце и где оно. Первое, что пришло ему в голову,— лечь на жесткие нары и попытаться уснуть. Надо хоть немного передохнуть: завтра с утра набросится на него муравьевская свора. И ему придется отбиваться от нее всеми силами. Для этого нужно собрать в кулак всю свою волю.

Он лег, не раздеваясь, прямо в пальто, скинув только туфли. В келье было холодно, сильно отдавало сыростью. Тяжелый дух давно не проветриваемого склепа сдавливал грудь, от него першило в горле. Кастусь старался не думать о том, что случилось, задушить в себе боль, досаду, мучительные переживания. Но это было невозможно. Черные думы так и рвали его на части. Сильно болела голова.

Как же все это произошло? Кто выдал его? Ямант? Милевич? Его тезка Юзеф Калиновский? Парфианович? Кто же, кто же, кто?.. Ведь, кроме них, никто не знал, где он живет и под каким именем скрывается. Милевича и Юзефа Калиновского он видел за несколько часов до ареста. Они вместе читали первый номер новой газеты «Голос из Литвы», вышедший недавно в Кенигсберге. Это была газета их виленского Отдела. Напечатали ее Малаховский и Длусский. Кастусь переслал им тайной

[1] Доминиканское здание в Вильно — доминиканский костел с трехэтажными жилыми пристройками. Доминиканцы — члены монашеского католического ордена имени святого Доминика.

почтою свою статью, в которой были такие слова: «Убежденные в святости нашего дела, независимо от того, что скажут дипломаты и властители мира, мы будем и дальше вести дело освобождения родины». Так, только так он думал, так и действовал. Юзеф и Милевич не могли сразу выдать его, даже если раньше попали в эту тюрьму. Нет, это невероятно, этого быть не могло. Остаются Ямант и Парфианович. Ямanта он знает давно, со студенческой скамьи. А с Парфиановичем познакомился недавно. И доверил ему важную должность в организации, пожалуй, только потому, что в тот момент больше никого не было рядом.

В тяжких и мрачных раздумьях прошел весь остаток ночи. Утром старый коридорный принес завтрак — кусок черного хлеба и стакан воды. Воду Кастусь выпил залпом и попросил еще. К хлебу не притронулся.

И едва ли не следом за коридорным ворвался в келью жандарм, приказавший Кастусю следовать за ним.

На первый допрос главного мятежника собралась вся комиссия: председатель — полковник Шелгунов и члены — штабс-капитан Семенов, поручики Гогель и Юган, обер-аудитор Щерба и просто аудитор, коллежский асессор Федоров — он же писарь.

Председатель комиссии — важный и чопорный полковник с густыми усами и бакенбардами — начал допрос сам.

— Ваша фамилия?

— Витаженец.

— Имя?

— Игнатий.

Председатель неожиданно сморщил сытое пунцовое лицо, уставился в одну точку и весь всколыхнулся от собственного громкого чиха. Члены комиссии дружно пожелали ему доброго здоровья. Он повторил свой чих с таким же успехом. Потом еще и еще. Наконец успокоившись, он продолжил допрос:

— Где родились?

— В Галиции.

— Точнее?

— Дудинская волость, село Загорье.

Кастусь давно придумал место рождения для своего Витаженца — такое, которое нелегко было проверить: Галиция не входила в состав Российской империи.

— Как и когда попали в Вильно?

Кастусь ответил не задумываясь — и это было давно продумано им:

— Сперва переехал в Царство Польское, оттуда — в Вильно.

— Зачем?

— Ищу службу.

— Какую?

— Место учителя. Я — преподаватель истории и географии.

— Где вы преподавали свои науки?

— Пока нигде.

— Почему?

— За неимением вакансий.

— А чем занимаетесь?

— Изучением истории и культуры славянских народов.

Председатель достал из кармана зубочистку и, кивнув головой штабс-капитану, принялся ковырять в зубах.

— С какого и по какое время вы были комиссаром Гродненского воеводства? — очень громко спросил штабс-капитан.

— Ни с какого и ни по какое комиссаром Гродненского воеводства я не был,— ответил Кастусь, стараясь держаться свободно и независимо.

— Проживали ли вы в прошлом году на квартире вдовы бывшего главного архитектора города Вильно Юзефы Греготович?

— Не проживал.

— И Константина Калиновского не знаете?

— Нет.

По вопросам штабс-капитана Кастусь понял, что в руки комиссии попали сведения весьма для него опасные. Но много ли этих сведений?

К полудню, когда голодный и усталый Кастусь едва держался на ногах, в комнату комиссии ввели пожилую женщину в арестантском халате, с желтым морщинистым лицом. Это была мать Марыси, Юзефа Греготович, его бывшая хозяйка. Неужто она — главная свидетельница против него? Но ведь она не знала его новой квартиры и новой фамилии! Ее вместе с дочерью арестовали вслед за Титусом Далевским. И, видимо, только за то, что он жил у них на квартире. Кастусь это знал. И как

же он пожалел сейчас, что раскрыл им тогда свою подлинную фамилию!

Между тем Юзефа молча стояла напротив него и сочувственно смотрела ему в глаза, словно хотела сказать: «Эх, Кастусь-Кастусек! И тебя не миновала беда... Как мне жаль тебя, дорогой!..»

— Вы знаете этого человека? — спросил ее председатель комиссии.

— Нет... Не знаю...

Юзефа старалась говорить спокойно, но Кастусь видел, как трудно ей это дается.

— Присмотритесь получше,— сказал штабс-капитан.— Это ведь ваш квартирант Макаревич!

— Не знаю... Впервые вижу...

Кастусь готов был упасть на колени перед этой доброй и храброй женщиной.

Не добившись ничего от Юзефы Греготович, ее удалили из следственной комнаты.

На Кастуся снова посыпались вопросы. Парфиановича не упоминали. Кастусь все отрицал. Ему хотелось выяснить, что еще знает о нем комиссия и нет ли в ее сетях прорехи, в которую можно ускользнуть.

Юзефа помогла ему отбить первую атаку. Но что ждет его впереди? Долго ли еще продержится Игнатий Витаженец? К тому же он должен думать не только о себе, но и о своих друзьях, оставшихся на свободе, обо всей организации, которую необходимо спасти во что бы то ни стало. Не покидала Кастуся и надежда руководить организацией из тюремной кельи. Для этого нужно только найти среди здешних тюремщиков человека, который сочувствует их делу. А такие люди есть всюду. Его друзья, наверно, будут их искать.

Следственная комиссия сделала перерыв на обед. Кастуся снова привели в келью. Коридорный опять принес ему кусок хлеба и в деревянной миске немного супа.

— Спасибо, отец! — сказал Кастусь.

— Не за что,— ответил старик, ставя обед на нары.

— Давно здесь служите?

— Давно...

Старик вышел и запер дверь.

Пообедав, Кастусь прилег на нары. Головная боль, утихшая было во время допроса, возобновилась.

Спустя мгновение он задремал. Ему приснилось, что

сидит он на диване у Юзефы. Дочь ее Марыся поет «Ой, летели гуси из дальнего края...» и заплетает черные косы, а он глядит на нее и не может наглядеться. Она так ему нравится... Но он не смеет сказать ей об этом. Почему он такой робкий, застенчивый?..

Но здесь сон Кастуся неожиданно оборвался. Он открыл глаза и увидел над собою того жандарма, который вел его в следственную комнату. Жандарм тормошил его:

— Прошу следовать за мной!

— Опять туда? — еще не совсем проснувшись, произнес Кастусь.— Сколько же можно мучить человека в один день?

— Не разговаривать!

Кастусь нехотя встал и пошел за жандармом, делая над собой усилие, чтобы вспомнить сон о любимой, которая так и не знает, что он ее любит, или, может быть, только догадывается. Робок он был, это правда. Но разве мог он, бесправный и бездомный, на что-то надеяться? Ему хотелось открыть ей свое сердце тогда, когда он станет свободным человеком. И он ждал этого дня с нетерпением...

Председатель комиссии встретил его на этот раз совершенно неожиданным вопросом:

— С вами, Витаженец, желает увидеться одна особа по имени Мария Греготович. Вы не возражаете?

Члены комиссии воззрились на Кастуся, а у него оранжевые круги поплыли перед глазами. Но, тут же опомнившись, он сказал:

— Такой особы я не знаю.

— Ну что ж,— проговорил штабс-капитан, саркастически усмехаясь,— познакомитесь.

Коллежский асессор приоткрыл дверь и приказал ввести Марию Греготович.

«Как же ей пришла в голову такая странная и опасная мысль? — заволновался Кастусь.— И откуда она знает, что я здесь?..»

Тем временем Марысю ввели в следственную комнату. Кастусь едва узнал ее — худую, бледную, подавленную переживаниями. Одета она была в свое домашнее платье — теплый жакет серого цвета, черная юбка и черный платочек на голове. «Значит, она уже на воле!» — порадовался за нее Кастусь.

Едва увидев Кастуся, Марыся бросилась к нему:

— Костенька! Любимый мой! Ты хотел меня видеть?

И повисла на его шее, осыпая его горячими поцелуями.

Кастусь смотрел на нее и не знал, что делать. Мог ли он оттолкнуть ее?.. Мог ли сказать ей, что не знает ее?.. Сердце его замерло: впервые в жизни услышал он слова, о которых только мечтал, когда думал о Марысе, да еще ощутил на щеках своих поцелуи любимой.

— Эх, Марыська, Марыська! — простонал он, стараясь сдержать подступившие к горлу слезы.— Как же бессовестно использовали эти негодяи твою чистую любовь, о которой узнал я только сейчас! Они же топят меня твоими руками!

И Кастусь исступленно поцеловал ее руку.

— Довольно! Прекратить! — сказал председатель комиссии, весьма довольный поворотом дела.

Жандарм потащил Марысю к выходу.

— Костенька... — зарыдала она.— Так ты не звал меня? Это они выдумали? Я выдала тебя...

— К сожалению, это так,— ответил Кастусь.— Но я рад, голубка моя, что увидел тебя и хоть перед смертью услышал твое признание. Я тоже люблю тебя. С первого взгляда. Прощай же, Марыська! Прощай!

— Костенька! — Марыся вырвалась из рук жандарма.— Они обманули меня. Что я наделала!..

И она как подкошенная упала на пол.

— Убрать! — брезгливо проговорил председатель.

Коллежский асессор помог жандарму, вдвоем подхватили они девушку и вынесли за дверь.

Кастусь обернулся к председателю и, гневно сжав кулаки, сказал:

— Я протестую, господин полковник! Это подлая провокация! Честный человек, кто бы он ни был, не может пасть так низко!

Председатель возразил спокойно, сделав вид, что не обратил внимания на неслыханную дерзость:

— Арестованный Константин Калиновский! Вы, повидимому, забыли, где находитесь!

— Нет, не забыл! — воскликнул Кастусь.— Я нахожусь в том самом учреждении, где топчут грязными сапогами все святое... Вы добились своего, господин полковник. Можете праздновать победу. Только я бы на

вашем месте стыдился победы, достигнутой такими недостойными средствами!

— Арестованный, я лишаю вас слова!

Кастуся снова увели в келью.

XIX

Муравьев душил восстание и при этом всячески пытался обелить перед мировым общественным мнением свое черное дело, изобразить эдакую отеческую заботу о вверенном ему крае, выражающуюся прежде всего в избавлении его от мятежников.

Он даже поручил своим подчиненным, владевшим пером,— чиновнику генерал-губернаторской канцелярии Мосолову, члену особой следственной комиссии Гогелю и генералу Ратчу — собрать необходимые материалы и написать для современников и потомков историю последнего мятежа в Северо-Западном крае. В истории этой хотелось предстать ему в розовом свете, в ореоле правителя дальновидного и мудрого. И надо ли говорить, что присяжные историки имели бы возможность прославить его стократ, если бы удалось ему сломить волю главного мятежника Кастуся Калиновского!

Между тем прошел почти месяц, а так и не удалось членам следственной комиссии вырвать из уст Кастуся ни одного имени, ни одного факта. Он называл имена только покойников или тех, кто находился вне пределов досягаемости — за границей. Факты упоминал только всем известные. Себя никак не подчеркивал. Держался, как самый обыкновенный рядовой повстанец. Да и само восстание изображал мизерным, незначительным и никак не заслуживающим того внимания, которое уделяют ему царь и его наместник Муравьев. Словом, Кастусь всеми силами продолжал борьбу.

А в какой-то момент прямо заявил, что все старания комиссии тщетны.

— Если гражданская честность является добродетелью, то шпионство оскверняет душу,— сказал он.— Общество, построенное на шпионстве, недостойно называться обществом!

И чтобы прекратить попытки монархистов перетащить его на свою сторону, добавил:

— Причины и следствия моих действий досконально мною продуманы и осознаны. Чувство собственного достоинства и мои понятия о чести, а также то положение, которое я занимал в обществе, не позволяют мне пойти иным путем.

И тогда полковник Шелгунов распорядился доложить Муравьеву об окончании следствия.

В тот день, вернувшись в келью, Кастусь в изнеможении опустился на нары. «Теперь все кончено,— думал он.— Пройдет еще несколько дней, и я уйду из этого мира. О, как не хочется умирать в двадцать шесть лет! Как много еще можно было бы сделать и сказать людям! Сделать уже ничего не удастся. Но сказать... Сказать можно. И — нужно!»

Первые шаги были сделаны. И немалые. Лед тронулся. И даже если восстание будет окончательно подавлено, кое-что уже удалось вырвать у царя: барщину он отменил уже сейчас, а не спустя годы, как собирался. И пусть не отобрана еще у помещиков без выкупа исконная крестьянская земля, они все же вынуждены были этот выкуп уменьшить. О, это уже много! И только за это стоит заплатить кровью. Так что он, Кастусь, отдал свою жизнь не даром.

Вот об этом-то и нужно сказать людям. Чтобы поняли. Чтобы помнили. И, собрав новые силы, снова вступили в борьбу.

Нужно написать все это. Но где взять бумагу? А что, если попросить у следователей? Сказать, что здесь, в одиночной камере-келье, решил он написать им все то, чего не сказал на допросах?

И через коридорного передал он комиссии, что хочет видеть кого-нибудь из ее членов. Старик теперь охотнее разговаривал с Кастусем, чем в первые дни. Кастусь чувствовал, что душа этого человека онемела в этой мрачной тюрьме. Когда-то, в молодости, дядька Симон жил в деревне. Потом двадцать пять лет был солдатом. И когда узнал, что Кастусь ждет смертной казни за то, что хотел добра мужикам, в душе его пробудилось не только сочувствие к нему, но и уважение.

Не прошло и десяти минут, как появился в камере коллежский асессор Федоров. Кастусь изложил ему свою просьбу.

— Хотя ваша просьба и незаконна,— сказал коллеж-

ский асессор,— но я передам ее господину полковнику.

— Одумался! — воскликнул Шелгунов, выслушав Федорова.— Ну что ж, дайте ему то, что он просит. Муравьев недоволен нашим следствием. Быть может, Калиновский что-либо добавит к нему. Кстати, дело его уже передано в военно-полевой суд. Так что долго писать ему не придется.

Получив бумагу, перо и чернила, Кастусь попросил у дядьки Симона хоть табуретку, которая заменила бы ему стол. Коридорный принес кусок плотного картона и старое кресло. Кастусь положил картон на нары, а кресло поставил рядом с ним.

— Прекрасно! — повеселел Кастусь.— Лучшей канцелярии мне и не нужно. Спасибо, спасибо, дядька Симон!

И едва старик скрылся за дверью, уселся за свой «стол».

За последний тюремный месяц вконец измучился Кастусь. Глаза его глубоко запали, на пожелтевшем лице пролегли первые морщины. Виски кое-где засеребрились преждевременной сединой. Он чувствовал, что начинает слабеть. Ныло в груди. «Уж не чахотка ли? — думал он.— Как у брата...» Сон стал неспокойным, тревожным. Часто снилась Марыся. Он неоднократно просил следователей разрешить ему еще одно свидание с нею. Но теперь они об этом и слышать не хотели.

И вот сейчас, получив долгожданное перо, Кастусь прежде всего вспомнил свою Марысю. И так захотелось сказать ей обо всем наболевшем, что рука сама вывела на бумаге ее имя. А потом возникли стихи:

Марысенька, ясная зорька моя,
Горька судьбина злая твоя.
Скажи, что с тобою, голубонька, сталось?..
Одна лишь тоска в моем сердце осталась.

Не меньше, чем Марысю, любил Кастусь свой народ. И к нему, к народу, тоже обратился он в стихах, которые шли из самой глубины его большого и доброго сердца:

Прощай навеки, родимый народ!
Твой Яська на смерть за тебя идет.
Когда настанут счастливые дни,
Добрым словом его помяни.

Написав эти строки, почувствовал Кастусь облегчение.

И все же не эти стихи были тем главным, что хотелось ему сказать. Перед ним лежали чистые листы бумаги, и они требовали от него напутственного слова к народу.

Он встал. Походил по камере. Снова опустился в кресло. Не сегодня-завтра расстанется он с теми, кому посвятил всю свою короткую, но окрыленную борьбою жизнь.

— Братья мои, родные мужики! — прошептал он как молитву.— Из-под царской виселицы приходится мне вам писать и, быть может, последний раз...

И, записав эти слова, продолжил:

> Горько покидать родную земельку и тебя, дорогой мой народ. Застонет грудь, заноет сердце, но не жаль умереть за правду твою. Прими же, народ, чистосердечное слово мое предсмертное, оно ведь как бы с того света и только лишь для добра твоего написано. Нет, братья, большего счастья на свете, чем когда человек может науку познать и ее мудрость. Но как день с ночью не ходят вместе, так и не уживутся никогда наука правдивая с неволею царской. И пока мы под ярмом, ничего у нас не будет — ни правды, ни богатства, ни науки и, как скот, гонять нас будут, пока не погибнем...

Слезы застилали глаза Кастуся. Он смахивал их и снова шептал заветные слова свои, слова прощания и великой веры в грядущее, шептал и записывал, и порой казалось ему, что пишет он кровью сердца, которое пока еще билось в его могучей груди. Он вел разговор со своим народом без сторонних опекунов и толкователей, учил его, как жить и что делать. Он не сомневался, что люди услышат его и что помянут Яську своего не только добрым словом, но и добрыми делами. Он призывал их к новой битве и к новому труду, «усердному и простому, как само сердце, что бьется под сермягою, как разум мужицкий, что не привередничает, коли есть дело, а берется и доводит его до конца». Напоминал, что никто на свете не сделает мужику добра, не даст воли, кроме него самого.

> Долго поляки помощи ждали из-за границы, народы чужеземные обещали помочь, а до сих пор не помогли. Ты, однако, народ мой, не жди никого, а сам, сам ступай воевать за права свои, за славу свою, за землю родную! Что в руку возьмешь, то и сгодится: и коса, и топор.

Написав эти прощальные «Письма из-под виселицы», Кастусь задумался, как передать их на волю. Единственный человек, с которым ему разрешали общаться, был коридорный. Дядька Симон явно смягчился в последние дни, но ведь когда Кастусь попытался передать через него весточку Марысе, старик отказался. Однако другого пути не было, и Кастусь решился снова обратиться к коридорному.

— Это моя последняя просьба перед смертью,— сказал он.

— А что за письма? — насторожился дядька Симон.— Опять этой девушке?

— Да. Но не ей одной. А и тебе, и всем добрым людям...

Симон испуганно посмотрел на Кастуся: не сошел ли он с ума? Ему, старику, письмо написал. Да что он ему сват, брат?

— А зачем же, хлопец, мне писать? — спросил Симон.— Поди, и на словах сказать можно.

— Ну, на словах так на словах,— согласился Кастусь.— Тогда слушай.

И шепотом, чтобы не было слышно за дверью, прочел Кастусь свои письма вслух. Старик выслушал все внимательно и протянул руку:

— Кому передать?

Кастусь назвал адрес Марыси Греготович.

— А ей почему не написал? — переспросил Симон.

— Есть тут несколько слов и для нее, дядька Симон. Вот.— И Кастусь показал старику отдельный листок.— Могу прочесть, если хочешь. Нет у меня секретов. Только письмо это написано не как письмо. А как песня.

И Кастусь прочел старику свои стихи.

— За душу берет, хлопец,— проговорил тот, смахивая слезу.

И, свернув все листки, засунул их в карман своей куртки.

— А если твоей Марыси дома не будет?

Кастусь задумался на мгновение. Прав дядька Симон. Кому же тогда? Милевичу? Юзефу? Госпоже Догель? Нет, пожалуй, все-таки Яманту, отцу Язэпа. Умный и осторожный старик наверняка не подведет и переправит письма в надежные руки. И Кастусь назвал дядьке Симону адрес Ямантов.

Коридорный несколько раз повторил оба адреса и вышел из кельи.

Кастусь вздохнул и принялся писать еще одно письмо, на этот раз — следственной комиссии.

XX

Через некоторое время после этого в камере Кастуся появился чиновник в новеньком мундире с блестящими пуговицами. Маленькие усики, бакенбарды на сытых розовых щеках.

— Мосолов, Александр Николаевич, личный секретарь генерал-губернатора,— представился он.

— Весьма приятно,— сдержанно кивнул головою Кастусь.— Чем могу служить господину личному секретарю?

— Очень многим, Константин Семенович,— развязно заговорил Мосолов.

— Не понимаю.

— Объясню: я намереваюсь написать документальные очерки о мятеже...

— Вы хотите сказать — восстании...

— Ну что ж, о восстании. Во всяком случае, меня интересует все, что касается этой темы. А вы, можно сказать — душа мятежа, сиречь[1] восстания.

— Благодарю за комплимент, господин Мосолов, но душой восстания была наша революционная организация.

— Да, конечно, Константин Семенович.— Я это хорошо понимаю, тем паче, что и сам либерал-с.

Кастусь иронически пожал плечами:

— Чей же вы либерал?

— Ну полноте, Константин Семенович! К чему же такое недружелюбие-с? Я не такой, как вы думаете. Кстати, мне известно, что ваша партия красных тоже причисляет себя к либералам.

— И к революционерам,— добавил Кастусь.— А это уже совсем другое дело. Я знаю либералов, которые служат царю не менее ревностно, чем сам генерал-губернатор. Ну, да уж бог с вами, какое мне, в конце концов, дело, кто вы и что вы. Что вас интересует?

[1] Сиречь (древнерусск.) — то есть.

— Я хотел бы уточнить некоторые вопросы, затронутые вами в последнем заявлении вашем следственной комиссии. Я познакомился с ним в нашей канцелярии.

— Пожалуйста. Прошу садиться.

Кастусь указал гостю на кресло, а сам сел на нары.

— Я хотел бы начать с конца, если разрешите.

— А почему же я не разрешу? Начинайте откуда хотите. Мне все равно.

— Благодарю вас. Вы пишете: «Я не враг счастья народного, не враг и России, когда она нам желает добра, но противник тех бедствий, которые обрушиваются на наш край несчастный». Я вас верно цитирую?

— Верно. И что же вам здесь непонятно?

— Все.

— Например?

— Разве Россия не желает добра вашему краю? И разве бедствия вызваны ею, а не вами и не поляками?

— Вот видите,— ответил Кастусь.— Оба мы либералы, как вы говорите. А между тем оцениваем и понимаем исторические факты и события по-разному. Стало быть, нет у нас с вами, господин Мосолов, ничего общего. Ну ладно. Вернемся к теме. Но сначала нам следует установить, о какой России мы говорим. Мужицкая Россия бунтует в последние годы так же, как мы. А лучшие русские люди, такие, как Герцен и Чернышевский, сочувствуют этому бунту. Больше того: призывают мужиков бунтовать. Против кого же? Никак уж не против поляков, белорусов, украинцев, литовцев. Вот вам Россия, которая желает нам добра.

— Герцен и Чернышевский? Но позвольте, какие же они русские?

— А кто же они — турки?

— Герцен давно предал Россию, он не желает даже жить на родине и, пребывая в Лондоне, оплевывает оттуда все русское. А Чернышевский — просто помешанный...

— Хорошо, господин Мосолов. Попробуем прокомментировать ваши утверждения. Скажите, пожалуйста, почему Герцен оказался в Лондоне? Потому что не хочет жить в России или потому что не может говорить на родине обо всем, что думает? Отец ныне здравствующего монарха загнал его в Вятскую губернию только за то, что он говорил и писал правду. А что касается Черны-

шевского, то дай бог каждому такое помешательство: это самый светлый ум на Руси. Так что, как видите, есть две России, и та Россия, которая держит в неволе свой собственный народ, не желает добра и нам. Это Россия деспотов и мракобесов. С такой Россией мы на мировую не пойдем, как бы ни пыталась она нас опутать.

— Ну, это уж слишком, господин Калиновский! Такие злые слова о России мы слышим только от наших недругов — французов и англичан.

— Мне нет дела до англичан. Я знаю другое: Россия крепостническая, Россия самодержавная нас не считает людьми. За одно только слово на родном языке, ненароком произнесенное в какой-нибудь казенной палате, нас штрафуют. Вы это знаете?

— Но генерал-губернатор вынужден насаждать все русское. Здесь ведь Россия, а не Польша. Здесь край православный, а не католический.

— А не кажется ли вам, господин Мосолов, что, прежде чем устанавливать какие бы то ни было порядки, недурно было бы спросить у коренных жителей края — белорусов и литовцев,— что думают по этому поводу они?

— Но посудите сами, это невозможно-с...

— Невозможно? А не считаться ни с языком, ни с человеческим достоинством целых национальностей — это, по-вашему, возможно? Вот были бы хозяевами в нашем краю мы сами, а не ваши посредники, исправники, приставы и еще черт знает кто, тогда все было бы возможно. Я вернулся на родину с дипломом кандидата. И что же? На родине, на моей родине не нашлось для меня места, где я мог бы трудиться с пользой для себя и своего народа. Зато перед тысячами ваших неучей и держиморд открыты все дороги и пути. Что же, по-вашему, это справедливо?

— Простите, Константин Семенович, оставим на время в стороне русских чиновников. Но, судя по вашему заявлению, вы не в ладах и с польскими помещиками.

— По мне, господин Мосолов, место всякого помещика — и польского и русского — на осине. А что касается Царства Польского, то почему бы не быть ему самостоятельным государством? Оно имеет на это такое же право, как, скажем, Россия.

— Однако же Речь Посполита сама выкопала себе яму.

— Я Речи Посполитой не защитник. Она душила и своих, и наших крепостных крестьян не меньше, чем любая другая держава, построенная на несправедливости. Но это вовсе не означает, что ее нужно было разорвать на части и подавлять в ней все национальное. Кроме короля и крикунов из сейма, в Польше жили и живут миллионы честных поляков. Они никогда не мирились и не будут мириться со своим бесправным положением.

— Но ведь поляки вознамерились обрести не только свои прежние земли, но и Литву, Белую Русь и часть Малой[1]. Что думаете вы об этом?

— Конечно, не то, что вы.

— Любопытно-с... Может быть, вы заодно с бывшим гродненским предводителем дворянства графом Стаженским, то есть готовы уступить Польше вашу Гродненскую губернию? Но вы ведь не польский помещик и не граф. Как же прикажете вас понимать?

— Господин Мосолов! — Кастусь безнадежно махнул рукой.— Если бы я и ответил вам на эти вопросы, вы бы все равно ровным счетом ничего бы не поняли. Так что останемся-ка лучше каждый при своем мнении. Но несколько откровенных слов, если угодно, могу вам сказать. Как я уже указывал в своем заявлении, правительство русское могло бы дать и вашему, и нашему народу больше, чем кто бы то ни было. Россия — великая держава. Она могла бы стать еще могущественнее, если бы приняла нас в свою семью как равных, как братьев, а не как рабов. И это не только мое мнение. По свидетельству Пушкина, мечтал об этом и великий польский поэт Адам Мицкевич: «Нередко он говорил о временах грядущих, когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся». О том же самом писал и Тарас Шевченко, украинский поэт, равный Пушкину и Мицкевичу, человек, над которым так гнусно издевался царь. Да что говорить, по доброй воле цари не делают добра.

— Но не по доброй ли воле освободил ваших крестьян от крепостной зависимости ныне здравствующий император? И не по доброй ли воле только что отменил он крепостное право для временнообязанных и уменьшил стоимость земельных наделов?

---

[1] Малая Русь (Малороссия) — официальное название Украины в царской России.

— Наивный вы либерал, господин Мосолов,— тряхнул головою Кастусь.— А в своих внутренних губерниях, где народ с оружием в руках не вынудил его сделать это, он что-нибудь изменил?

— Так это дело другое. Не всех же сразу освобождать! Так Россия, пожалуй, без хлеба останется. Не могут же помещики сами обрабатывать свои земли.

— А зачем же им самим-то? Пускай отдадут мужикам.

— То есть как отдадут? Навсегда?

— А как же иначе? Оставят себе столько, сколько смогут обработать сами, а остальное отдадут.

— Ну, знаете ли...

— А вы, вы знаете, сколько у нас людей, не имеющих даже и клочка земли? Они охотно стали бы ее обрабатывать.

— Так что же, быть может, отдать им и казенные земли?

— И казенные! И монастырские! И церковные! И даже земли царского дома! Их тоже немало наберется.

— Нет уж, увольте... Это... это уже напоминает грабеж...

— Грабеж? Нет, это была бы революция, которая просто-напросто необходима. Потому что по доброй воле ни царь, ни помещики, ни духовенство на такую реформу не пойдут. Кстати, знает ли его величество государь император всероссийский, царь польский, князь финляндский, что творят у нас ваши сановники и чиновники!

— Что вы имеете в виду?

— А хоть вот что. Сидит такой разбойник с большой дороги где-нибудь в уезде. Занимает должность воинского начальника или исправника. Деньги казенные гребет пригоршнями — больше трех тысяч в год. И это в то время, когда миллионы мужиков и у нас, и в России не имеют лишней копейки на соль, когда нам, узникам, казна отпускает на питание по семь или восемь копеек в сутки на брата. Да все равно у разбойника этого руки чешутся. Хочется ему непременно погреть их на народной беде. Что же он, мерзавец, делает? Переодевает двух-трех своих жандармов и подсылает в деревню как повстанцев. Те приходят, крокодиловы слезы льют, просят накормить. Ну, кормят их. А потом они же взятку требу-

ют: иначе — в острог за укрывательство, а то и деревню сжечь пригрозят.

— Этого не может быть! — воскликнул Мосолов.

— К сожалению, такое и не придумаешь,— вздохнул Кастусь. —Там, где люди не могли откупиться, жандармы сжигали дома и целые деревни, пожитки крестьянские продавали с молотка, а самих погорельцев отправляли в Сибирь.

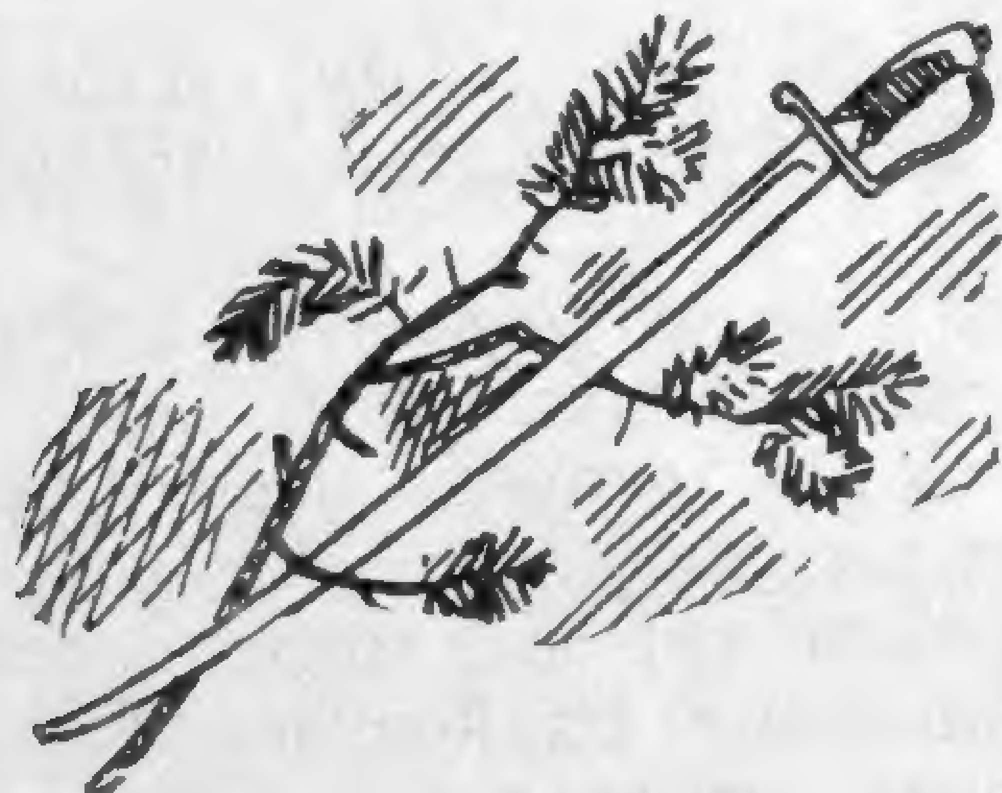
— М-да-с...— пробормотал Мосолов.

Кастусь задумался.

— Жаль, не дождался я светлых дней,— проговорил он.— Но горжусь, что и я закладывал основы грядущего.

— Упрямый вы человек,— сказал Мосолов.— Вам бы покаяться... перед смертью...

— Нет, господин Мосолов, каяться мне не в чем.



ЭПИЛОГ

Кастуся привели на рыночную площадь Лукишки утром 10 марта 1864 года. Там еще с мая прошлого года возвышалась виселица с пеньковой петлей — муравьевским галстуком, как называли ее в народе. На этой виселице оборвалась жизнь десятков друзей и соратников Кастуся.

Утро выдалось холодное, но на площадь и прилегающие улицы высыпал едва ли не весь город.

Руки Кастуся были связаны, но он стоял перед своими палачами с гордо поднятой головой.

Когда полицмейстер Саранчев, читая приговор, назвал его «дворянином Викентием Калиновским», закричал Кастусь громко, чтобы слышала вся площадь:

— Нет у нас дворян, все равны!

И хорошо было видно ему, как заволновался, зашевелился народ.

На слова приговора «...за государственную измену и склонение жителей к бунту...» так же громко запротестовал:

— Судить меня может только мой народ! Никакого другого государства я не признаю!

Едва полицмейстер закончил чтение приговора, Кастуся потащили на виселицу...

Тело его закопали тут же, возле виселицы, рядом с Сераковским, Далевским, Здановичем, Колышкой... А потом, когда у могил героев стали собираться горожане и приезжие мужики, останки их тайно перезахоронили в цитадели — на вершине Замковой горы, под старинной башнею короля Гедимина.

А что же произошло с другими героями восстания в нашей повести?

Произведенный в полковники Валерий Врублевский водил свои отряды — пешие и конные — во многие бои в Подляшском и Люблинском воеводствах. В январе неожиданно напал на него отряд казаков. Тяжело раненный в голову и в правое плечо, упал он с коня и потерял сознание. Подумали казаки, что он убит, и промчались мимо. А его подобрали крестьяне и отнесли в имение арендатора Ксаверия Складовского, родственника будущей всемирно известной ученой Марии Складовской-Кюри. Оправившись от ран, уехал Валерий во Францию,

где в 1871 году вместе с Ярославом Домбровским и другими эмигрантами — участниками восстания 1863 года — отважно сражался на баррикадах как прославленный генерал Парижской Коммуны. Потом стал секретарем польской секции I Интернационала, близким другом Карла Маркса и Фридриха Энгельса.

Умер он 5 августа 1908 года и с почестями похоронен парижанами на знаменитом кладбище коммунаров Пер-Лашез.

Марыся Греготович тяжело заболела, надолго слегла и не смогла прийти на площадь, чтобы сказать последнее «прости» своему Кастусю.

Феликс Рожанский помогал чем мог и как мог своему другу Валерию. Когда Валерий вывел свои отряды в Подляшье, он перебрался за границу, где и жил вдали от родины.

А Язэп? Во время неудачной вылазки за провиантом до последней минуты не покидал он своего тяжело раненного командира и был схвачен жандармами вместе с ним. Дядьку Егора жандармы повесили, а Язэпа сослали в Сибирь, на каторгу.

Остальным тоже выпала нелегкая доля.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Для среднего и старшего возраста

Алесь Якимович

КАСТУСЬ КАЛИНОВСКИЙ

Документальная повесть

Ответственный редактор *М. Ф. Мусиенко.* Художественный редактор *А. Е. Цветков.* Технический редактор *Н. Д. Лаукус.* Корректоры *В. В. Борисова* и *Э. Н. Сизова.* Сдано в набор 10/VII 1975 г. Подписано к печати 23/II 1976 г. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бум. типогр. № 1. Печ. л. 7,5. Усл. печ. л. 12,6. Уч.-изд. л. 12,78. Тираж 75 000 экз. Заказ № 1043. Цена 57 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.